Илья Венявкин

Чернильница хозяина

Советский писатель внутри Большого террора

OSpress

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каждый месяц на Arzamas выходила новая глава из книги историка Ильи Венявкина «Чернильница хозяина: советский писатель внутри Большого террора». Книга посвящена Александру Афиногенову — самому популярному советскому драматургу 1930-х годов. Наблюдать за процессом создания исторического нон-фикшена можно было практически в реальном времени. *** Судьба Афиногенова была так тесно вплетена в непостоянную художественную конъюнктуру его времени, что сквозь биографию драматурга можно увидеть трагедию мира, в котором он творил и жил. Тем более, что он был одним из немногих, кто осмеливался в то время вести дневники. Они и стали основой работы историка Ильи Венявкина. Эта книга о том, как террор вторгается в частную жизнь, делая каждый интимный разговор на кухне политическим жестом. Она о том, как террор пронизывает сознание героя, пытающегося найти происходящему аду если не объяснение, то хоть описание. О том, что движет человеком, когда он записывает в дневник вымышленный разговор со следователем, пытаясь то ли опередить события, то ли путём «антисглаза» избежать их, превращая кошмар в слова. О попытке слова преодолеть невозможность выжить.

- Илья Венявкин
  - Глава 1. Большие надежды
  - Глава 2. Два покаяния
  - Глава 3. В траве
  - Глава 4. Допрос
  - Глава 5. Быть Сталиным
  - Глава 6. Партбилет
  - Глава 7. Молчание
  - Глава 8. Последняя война
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25

Илья Венявкин
Чернильница хозяина: советский писатель внутри Большого террора

Глава 1. Большие надежды

17 мая 1934 года Михаил Булгаков заполнил анкету на получение загранпаспорта в Иностранном отделе Мосгубисполкома, вернулся домой в Нащокинский переулок и сходу продиктовал жене первую главу книги о будущем путешествии по Западной Европе. Книга должна была получиться радикально непохожей на конъюнктурные рассказы выездных советских писателей о классовой борьбе и закате буржуазного мира.

Первую главу Булгаков посвятил встрече как раз с таким писателем, драматургом Полиевктом Эдуардовичем. Ослепительный красавец «с длинными ресницами и бодрыми глазами» был не по-московски роскошно одет: ноги его были «обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен». «Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком». Недавно вернувшегося из Европы Полиевкта окружали актеры. Они с восторгом слушали его рассказ, в котором фигурировали несчастный Ганс, несправедливо арестованный и избитый полицейскими, и его мать, умирающая на улице с проклятьем на устах. Потом оказывалось, что Полиевкт пересказывал сюжет своей новой пьесы.

Александр Афиногенов. Москва, 1930 год
Государственный литературный музей

Одним из прототипов красавца Полиевкта был Александр Афиногенов, тридцатилетний советский драматург, достигший к 1934 году вершины социального успеха. Афиногенов жил в собственной четырехкомнатной квартире в Газетном переулке, был счастливо женат на американской танцовщице и совсем

недавно вернулся из продолжительной поездки по Италии, Франции и Германии на собственном сером «форде». Куртку из замши для кошельков Булгаков упомянул не случайно: в 1932 году Афиногенов заработал гонорарами баснословную 171 тысячу рублей, от которой даже после уплаты партийных взносов осталась солидная сумма. На москвичей 1930-х годов эти атрибуты успеха производили космическое впечатление: столичный университетский профессор получал в лучшем случае 500 рублей в месяц и не мог даже подумать о том, чтобы поехать в Европу. Булгаков должен был смотреть на драматурга-конкурента не только с презрением или раздражением, но и с завистью. Заграничный паспорт ему в итоге так и не дали, и он с горя порвал машинопись толком так и не начатой книги[1].

Михаил Булгаков, без сомнения, выиграл историческое соревнование. За последние пятьдесят лет о самом популярном сталинском драматурге не написано ни одной книги, а Булгакова изучают в школьной программе. Более того, булгаковские тексты заметно повлияли на наше представление о людях 1930-х годов вообще и о писательском сообществе в частности. И Афиногенов, и многие другие советские писатели воспринимаются сегодня как бездарные, корыстные и циничные члены МАССОЛИТа с комическими фамилиями: слуги Воланда сожгли писательскую организацию дотла совершенно заслуженно. Булгаковская сатира убедила поколения читателей в том, что весь советский проект с его невероятными амбициями по переустройству общества и человеческой природы был всего лишь обманом зрения. Советский человек — просто ухудшенная версия человека дореволюционного. Такая оптика мешает понять, зачем тысячи людей приходили в театры, сопереживали и хлопали героям, казалось бы, конъюнктурных пьес. О чем думали и на что надеялись советские интеллектуалы, так же, как и Афиногенов, вошедшие в жизнь после революции? Что стояло за их стремлением создать художественные тексты, которые почти полностью игнорировали неприглядные стороны советской реальности? Как они восприняли и интерпретировали террор, который в конце 1930-х обрушился на них вместо булгаковского пожара?

***

Александр Афиногенов принадлежал к первому поколению советской интеллигенции, которое было всем обязано

интеллектуальному и социальному драйву революции. Он родился в 1904 году в городке Скопине Рязанской губернии в образцовой по советским меркам семье железнодорожного служащего и учительницы. Его родители включились в общественную борьбу начала века: стали издавать оппозиционную газету и в итоге вынуждены были бежать на Урал. После революции пятнадцатилетний Афиногенов организовал Коммунистический союз учащихся Рязани, выступал на собраниях и митингах. Под псевдонимом Александр Дерзнувший он опубликовал свою первую поэму под названием «Город». В 1920 году он занимал 16 должностей (военный цензор, заведующий уездпечатью, редактор газеты, член коллегии отдела народного образования и др.) и приходил в школы с проверкой, пугая учителей «начальственным видом и наганом, прицепленным сбоку». Выбирая между политикой и литературой, он в итоге удачно совместил одно с другим: после окончания Московского института журналистики Афиногенов оказался в Ярославле, где одновременно редактировал газету «Северный рабочий» и возглавлял ассоциацию пролетарских писателей. С этого момента его литературные успехи всегда шли вместе с успехами номенклатурными.

В середине 1920-х годов Афиногенов переключился на драматургию и с невероятной скоростью выдал серию пьес агитационного содержания: «По ту сторону щели», «Гляди в оба!», «В ряды», «Малиновое варенье», «Волчья тропа». Пьесы строились на остром мелодраматическом сюжете и на понятном зрителю с первых сцен противопоставлении настоящих коммунистов-партийцев и врагов советской власти, затаившихся и замаскировавшихся, но не отказавшихся от своих коварных планов. В кульминационной сцене такой пьесы, как правило, происходило разоблачение или саморазоблачение. «Пока глаза в моем черепе есть, пока ноги в гору несут, я свою тропинку в жизнь вытопчу, к солнцу поближе заберусь, повыше, где воздух чистый, где власти много. <…> В жизнь вгрызаться, окрутить ее, насиловать — все мое, все хочу взять, ни с кем не поделюсь, самому мало, мало, мало!» — скрежетал зубами классовый враг в пьесе «Волчья тропа». Через несколько минут в его дверь постучали доблестные сотрудники ГПУ.

В 1927 году Афиногенов переехал в Москву, где сделал стремительную карьеру внутри Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) — самой влиятельной литературной организации конца 1920-х. Руководитель РАППа Леопольд Авербах зачастую получал указания напрямую от Сталина и высшего партийного руководства и виртуозно

организовывал травлю не до конца лояльных писателей (открыто нелояльных к этому моменту почти не осталось). Подстроиться под требования РАППа было практически невозможно: организация строго придерживалась сталинской линии в политике, а сталинская линия постоянно и непредсказуемо менялась. Задача РАППа поэтому сводилась к тому, чтобы первым заявлять о безусловной правоте Сталина и превращать политические лозунги в художественные высказывания.

Слава пришла к Афиногенову после премьеры пьесы «Чудак» (1929) — очень быстрой реакции на сталинский призыв мобилизовать низы партии против ее верхов под лозунгом искоренения бюрократизма. «Чудак» выводил на сцену молодого беспартийного энтузиаста Бориса Волгина, который оказывался убедительнее и эффективнее догматичных партийцев и циников-карьеристов. По сюжету Волгин берет на фабрику еврейку Симу Мармер, несмотря на противодействие антисемитски настроенных рабочих. В конце его увольняют и грозят отдать под суд, а затравленная Сима бросается в реку — однако мораль не в этом, а в том, что Волгин и без партбилета оказывается способен правильно интерпретировать политику партии. Сталин ценил лояльность РАППа, он пришел на представление «Чудака» во МХАТ-2, пожал автору руку и сказал: «Хорошо».

Уже к середине 1920-х годов стало понятно, что, несмотря на все программные заявления о рождении нового пролетарского искусства, авангард так и не сумел завоевать массовую аудиторию и плохо справлялся с задачей распространения марксистской идеологии в плохо образованной стране. Даже в столице публика устала от радикальных художественных экспериментов: новаторские «Баня» и «Клоп» Маяковского в постановке Всеволода Мейерхольда по большому счету провалились, зато на булгаковских «Днях Турбиных», которые даже близко не могли считаться образцовой советской пьесой, во МХАТе стабильно был аншлаг.

Сцена из спектакля «Дни Турбиных» в Московском Художественном театре. 1928 год
РИА «Новости»

МХАТ — самый яркий пример сбоев в советской культурной политике: больше чем через десять лет после революции главный театр страны, в который регулярно приезжало высшее руководство во главе со Сталиным, так и не имел в репертуаре выдержанной в партийном духе пьесы на современном советском материале. Создателям самой влиятельной театральной школы XX века, основанной на психологизме и подтексте, просто нечего было ставить. Многие советские драматурги приносили свои пьесы во МХАТ, но раз за разом выяснялось, что для того, чтобы играть шаблонных большевиков и классовых врагов, не нужна система Станиславского.

Афиногенов взялся исправить этот недостаток. Ему удалось найти «философский камень» советского искусства: один из первых он сумел перевести передовицы «Правды» и речи партийных вождей на язык драматургии и совместить острый сюжет, узнаваемых персонажей и идеологическую выдержанность. Он отказался от изображения революционных масс на сцене и перенес сценическое действие в комнатные интерьеры — вполне в духе Чехова и Ибсена, которых он и считал примерами для подражания. Для драмы такого типа необходима была фигура сомневающегося интеллигента, и тут Афиногенову повезло: в самом начале 1930-х годов в партийной печати снова вспыхнула дискуссия о том, что делать с «попутчиками»[2]. Враги революции были высланы, уничтожены или лишены прав, а «попутчики» вроде как и сочувствовали большевистскому проекту, но медлили раствориться в партийных рядах. Это создавало пространство для

драмы: между абсолютным злом и абсолютным добром оказывался человек, которому предстояло сделать выбор.

Храм Христа Спасителя. 1931 год
ТАСС

Пятого декабря 1931 года в Москве снесли храм Христа Спасителя, а 24 декабря во МХАТе первый раз сыграли пьесу Афиногенова «Страх». Перед премьерой он записал в дневнике: «Сегодняшний день решает все. <…> Говорят, будет весь Кремль. <…> И ужасная тоска щемит. <…> Вдруг гроб, треск, провал, — а завтра, завтра газеты разнесут, и пошла, пошла катавасия, и ото всего здания, как от храма Христа, — останется меловая гора». Однако тревога Афиногенова была напрасной.

Главным героем пьесы был интеллектуал-«попутчик», профессор Бородин (в нем публика могла узнать физиолога Ивана Павлова). Бородин утверждал, что людьми руководят безусловные стимулы: любовь, голод, гнев и страх. В кульминационной сцене профессор поднимался на трибуну, чтобы рассказать о своем сенсационном открытии: все советское общество поражено страхом. «Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения

в идеализме, технический работник — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты, — говорил Бородин. — Уничтожьте страх, и вы увидите, какой богатой жизнью расцветет страна!» В зале хлопали — не только игре актера Леонидова, но и содержанию речи профессора. Чтобы дать отпор реакционной теории, на трибуне появлялась старая большевичка Клара. Она громила бородинскую теорию эмпирикой: во время революционной борьбы настоящие большевики победили в себе страх, стали бесстрашными; новое общество отбросило старый мелкобуржуазный страх как пережиток. Бородин был раздавлен этим аргументом. Осознать правоту Клары ему помогала следователь ГПУ, показывавшая, что он стал жертвой антисоветского заговора. Бородин признавал свои ошибки и обещал еще принести пользу советской власти.

МХАТ взорвался овацией, занавес давали 18 раз, Афиногенова вызвали в правительственную ложу и поздравляли. На одно из следующих представлений пришел Сталин с женой и тоже остался доволен увиденным. В качестве награды за хорошую работу Афиногенова отправили в то самое путешествие по Европе, которое и вызвало раздражение у Булгакова.

Пока Афиногенов путешествовал по Франции, Сталин провел свою самую масштабную и неожиданную культурную реформу. Он разогнал существовавшие в стране художественные организации и объявил о создании профильных союзов для разных областей искусства. Всей литературой теперь должен был заниматься Союз советских писателей (ССП). Московские писатели ликовали: сталинское постановление ликвидировало ненавистный всем РАПП. Не стесняясь в выражениях, говорили о «Пасхе», «манифесте 1861 года» , «конце рабства». Более того, было объявлено, что пришло время для открытой дискуссии о новом едином методе советской литературы, который мог бы объединить всех писателей — как самых ортодоксальных, так и находившихся до этого под ударом «попутчиков». Зафиксировать это новое единство советской литературы должен был Первый съезд советских писателей под руководством окончательно вернувшегося в страну патриарха советской литературы Максима Горького.

Сталин традиционно не ограничился организационной перегруппировкой: до конца 1932 года он провел несколько неформальных встреч, куда были приглашены самые известные советские писатели, и рассказал им, в чем отныне должна

заключаться функция литературы и роль писателя в обществе. «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар — души людей, — говорил Сталин. — Вы — инженеры человеческих душ». В качестве одного из образцов художественного произведения, которое эффективно воздействует на аудиторию, Сталин привел афиногеновский «Страх».

Слова о производстве душ читателей совсем не показались слушателям банальной или бессмысленной метафорой. В последующие несколько лет критики и литераторы цитировали эту фразу вождя при каждом удобном случае. Большая часть докладов, прозвучавших на Первом съезде писателей, была посвящена тому, как лучше переделать души читателей и как писателю переделать собственную душу, чтобы соответствовать великой задаче, поставленной перед ним эпохой.

Максим Горький беседует на Первом съезде советских писателей с передовой колхозницей Софьей Иовной

Гринченко — героиней повести Владимира Ставского «Разбег». 1934 год

РИА «Новости»

Писательский съезд открылся 17 августа 1934 года. Самая пронзительная сцена съезда разыгралась, когда в Колонный зал, где заседал съезд, зашла делегация девушек-метростроевцев в рабочих комбинезонах. Увидев, что одна из них держит на плече отбойный молоток, Борис Пастернак со своего места в президиуме бросился ей помогать. Девушка молоток не отдавала. Зал смеялся. Поэту потом пришлось оправдываться: «Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Несмотря на то что многие участники сочли мероприятие затянутым и не слишком содержательным, все были в целом воодушевлены его итогами. Два остроумца и эстета Юрий Олеша и Валентин Стенич написали шуточную поэму, посвященную пятнадцати дням съезда. Она заканчивалась стихами: «Москва в те дни была Элладой, / Помноженной на коммунизм!» — и шуткой это было только отчасти.

***

25 ноября 1936 года, через три месяца после окончания первого показательного процесса[3], Сталин подошел к трибуне Чрезвычайного восьмого съезда Советов СССР, чтобы прочесть доклад о новой советской конституции. Его речь[4] слушала по радио вся страна. Сталин говорил два с половиной часа. За это время он сообщил, что время диктатуры пролетариата прошло, а в стране в общих чертах построен социализм. Новая конституция гарантировала самую широкую демократизацию общественной жизни — равенство прав всех граждан, свободу слова, собрания, печати, — и вводила выборы в Верховный Совет СССР на основе всеобщего тайного прямого голосования. Для страны, в которой на протяжении двадцати лет целые социальные классы были поражены в правах, это означало настоящее освобождение. Зал взорвался овацией. Ни у кого не было

сомнений — эта речь останется в веках.

Вскоре после выступления Сталина Афиногенов влетел в комнату к своему другу, американскому журналисту Морису Хиндусу, с бутылкой вина и воскликнул: «Давайте праздновать! Теперь все будет по-другому». Он попросил у Хиндуса на несколько дней смокинг, чтобы московский портной сшил ему такой же. «Теперь, — сказал Афиногенов, — мы сможем одеваться так же модно, как европейцы».

Источники

Афиногенов А. Избранное в 2 т. М., 1977

Булгаков М. Собрание сочинений в 5 т. Т. 2. М., 1992

Гладков А. Встречи с Борисом Пастернаком. М., 2002

Зелинский К. Вечер у Горького. Минувшее. Исторический альманах. М.-СПб., 1992

Осокина Е. За фасадом сталинского изобилия. Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 2008

Соловьева И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. М., 2007

Успенский П. В. О. Стенич: биография, дендизм, тексты…[5] Наше наследие, 2011

Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005

Hindus M. Crisis in the Kremlin. New York, 1953

Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172

Глава 2. Два покаяния

Третьего апреля 1937 года дочь нового американского посла в СССР, двадцатилетняя Эмлен Найт-Дэвис, устроила маскарад. Гостей вечеринки — дипломатическую и артистическую элиту Москвы — попросили «одеться тем, кем вам хотелось и не удалось быть в жизни». Итальянский советник в образе амура (розовая хламида и белое трико) бегал по залу с криком и стрелял из лука; американский военный атташе Филипп Файмонвилль в белой рубахе и с косой изображал Льва Толстого; жена одного из послов нарядилась Мефистофелем. Александр Афиногенов тоже был на этом вечере, но пришел без костюма: возможно, на нем был тот смокинг, что он заказал себе в честь новой советской конституции.

Устраивая вечеринку, Эмлен Найт-Дэвис просто продолжала традицию, заложенную предыдущим американским послом Уильямом Буллитом, и не могла догадываться, что маскарад в игровой форме воспроизводил главную метафору советской политической риторики 1930-х годов: все общество состоит из замаскировавшихся врагов и предателей, вынашивающих дьявольские планы по подрыву советского строя. После убийства руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова в декабре 1934 года надежды на постепенную либерализацию общественной жизни в СССР стали совсем призрачными. Объявив о том, что в стране в общих чертах построен социализм, Сталин продолжил развивать и парадоксальную теорию обострения классовой борьбы: чем больше успехи социалистического строительства, тем отчаяннее сопротивление недобитых классовых врагов. Единственным средством борьбы с ними был террор.

Террор — идеологически обоснованный и управляемый партийным руководством — не прекращался с самого возникновения Советского государства. Просто в разное время власть направляла его на разные социальные группы и умело регулировала масштаб. Кампания второй половины 1930-х годов отличалась невиданной до этого организованностью и запланированной жестокостью. Первый удар Сталин нанес по «контрреволюционным элементам» — бывшим дворянам, офицерам царской армии, священнослужителям, членам оппозиционных большевикам партий. Другой важной особенностью террора стала его направленность против единомышленников. Никогда до этого столько членов партии не приговаривались к расстрелу как враги народа.

Похороны Сергея Кирова. За катафалком идут (слева направо) Михаил Калинин, Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Вячеслав Молотов. 1934 год

Getty Images

В августе 1936 года в Москве прошел первый показательный процесс, известный как процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Его основными фигурантами выступали старые большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Их обвиняли в том, что по заданию Льва Троцкого они создали террористический центр для убийства всего высшего советского руководства вообще и Кирова в частности. Через день после вынесения обвинительного приговора их расстреляли. Менее чем через полгода начался второй процесс: Сталин посчитал нужным разоблачить вымышленный «параллельный» антисоветский центр, который должен был дублировать первый центр в случае провала. Воображаемые преступления этого центра были еще чудовищнее: план реставрации капитализма в СССР и сговор с иностранными государствами, в частности с фашистской Германией. Впрочем, и на этом Сталин не собирался останавливаться: в конце февраля 1937 года на пленуме ЦК ВКП(б) были намечены новые жертвы в высшем партийном руководстве. Третьего марта, выступая на том же пленуме, Сталин процитировал закрытое письмо, которое до этого было разослано по партийным организациям: «Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно

быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован».

Когда игры и танцы закончились, на маскараде в американском посольстве выбрали лучший костюм вечера. Первый приз получил Мефистофель. Вскоре после этого в зале во фраке и черной полумаске появился дипломат и писатель Давид Штерн, автор серии антифашистских повестей, опубликованных под псевдонимом Георг Борн. Фирменным приемом Штерна было использовать жанр исповеди или дневника для того, чтобы разоблачить моральные и интеллектуальные основания фашизма. Главный герой его самой популярной повести «Единственный и гестапо» шпион Карл Штеффен начинает свой рассказ с откровения: «Мне всегда делается смешно, когда меня спрашивают о моих убеждениях. <… > Я считаю, что для того, чтобы верить во что бы то ни было, необходимо страдать каким-то мозговым дефектом». Штерн сообщил веселящимся дипломатам, что недавний глава НКВД Генрих Ягода снят с должности и предан суду. Новость эта не произвела особого впечатления: за предыдущие несколько месяцев в Москве привыкли к тому, что врагом мог оказаться любой.

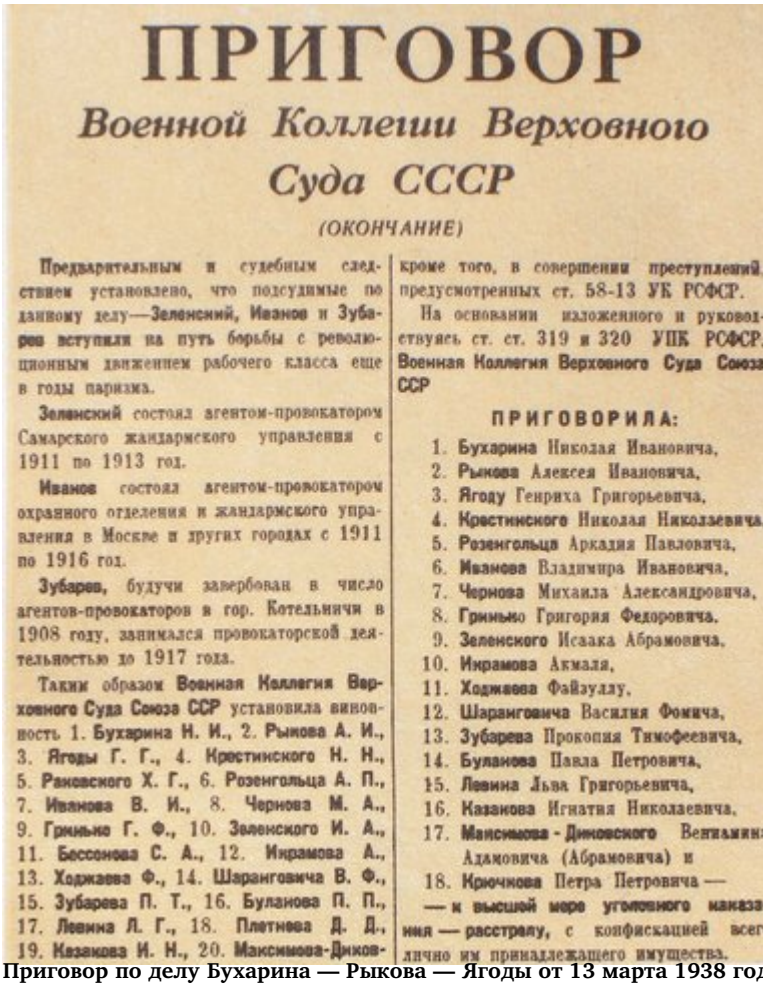
***

В конце 1920-х — начале 1930-х годов Александр Афиногенов входил в небольшую группу руководителей РАППа[6], связанных между собой дружбой и карьерным интересом. Самые близкие отношения у него установились с драматургом Владимиром Киршоном[7] и критиком Леопольдом Авербахом, чья сестра Ида была следователем прокуратуры и женой Генриха Ягоды. Среди высших советских руководителей было принято покровительствовать искусствам и создавать вокруг себя художественные салоны. Существовала даже своя «специализация»: нарком обороны Клим Ворошилов благоволил к художникам; секретарь ЦИК Авель Енукидзе — к балеринам и актрисам; Генрих Ягода собрал вокруг себя писателей-рапповцев и установил доверительные отношения с Максимом Горьким.

Дружба с влиятельными патронами давала писателям не только важное ощущение личной безопасности и информацию о настроениях и вкусах своих заказчиков, но и вполне конкретные материальные блага. В бедной и голодающей стране

покровительство часто принимало формы натуральной помощи: избранным писателям ОГПУ присылало продуктовые пайки и товары ширпотреба, помогало ремонтировать квартиры и налаживать быт. Афиногенов в середине 1930-х по протекции Ягоды получил четырехкомнатную квартиру в доме НКВД в Большом Комсомольском переулке (сейчас Большой Златоустинский переулок). Она была обставлена мебелью, сделанной заключенными Бутырского изолятора.

Советские военачальники (слева направо) Климент Ворошилов, Ян Гамарник, Семен Буденный и Генрих Ягода у Мавзолея Ленина. Москва, 1935 год
РИА «Новости»



ПРИГОВОР

Военной Коллегии Верховного Суда СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые по данному делу—**Зеленский, Иванов и Зубарев** вступили на путь борьбы с революционным движением рабочего класса еще в годы паризма.

Зеленский состоял агентом-провокатором Самарского жандармского управления с 1911 по 1913 год.

Иванов состоял агентом-провокатором охранного отделения и жандармского управления в Москве и других городах с 1911 по 1916 год.

Зубарев, будучи завербован в число агентов-провокаторов в гор. Котельничи в 1908 году, занимался провокаторской деятельностью до 1917 года.

Таким образом **Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР** установила виновность 1. **Бухарина Н. И.**, 2. **Рыкова А. И.**, 3. **Ягоды Г. Г.**, 4. **Крестинского Н. Н.**, 5. **Раковского Х. Г.**, 6. **Розенгольца А. П.**, 7. **Иванова В. И.**, 8. **Чернова М. А.**, 9. **Гриньо Г. Ф.**, 10. **Зеленского И. А.**, 11. **Бессонова С. А.**, 12. **Икрамова А.**, 13. **Ходжаева Ф.**, 14. **Шаранговича В. Ф.**, 15. **Зубарева П. Т.**, 16. **Буланова П. П.**, 17. **Левина Л. Г.**, 18. **Плетнева Д. Д.**, 19. **Казакова И. Н.**, 20. **Максимова-Диковского** кроме того, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-13 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 **УПК РСФСР, Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР**

ПРИГОВОРИЛА:

1. **Бухарина** Николая Ивановича,
2. **Рыкова** Алексея Ивановича,
3. **Ягоду** Генриха Григорьевича,
4. **Крестинского** Николая Николаевича,
5. **Розенгольца** Аркадия Павловича,
6. **Иванова** Владимира Ивановича,
7. **Чернова** Михаила Александровича,
8. **Гриньо** Григория Федоровича,
9. **Зеленского** Исаака Абрамовича,
10. **Икрамова** Акмаля,
11. **Ходжаева** Файзулла,
12. **Шаранговича** Василия Фомича,
13. **Зубарева** Прокопия Тимофеевича,
14. **Буланова** Павла Петровича,
15. **Левина** Льва Григорьевича,
16. **Казакова** Игнатия Николаевича,
17. **Максимова-Диковского** Вениамина Адамовича (Абрамовича) и
18. **Крючкова** Петра Петровича —

— к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества.

Приговор по делу Бухарина — Рыкова — Ягоды от 13 марта 1938 года. Газета «Правда», 14 марта 1938 года

Генрих Ягода был расстрелян 15 марта 1938 года в Лубянской тюрьме НКВД. *Wikimedia Commons*

Вслед за арестом Ягоды обязательно должно было последовать разоблачение широкой преступной сети сообщников. Четвертого апреля пришли за Леопольдом Авербахом. После этого Киршон и Афиногенов не могли чувствовать себя в безопасности. В эти дни в Москве проходило собрание писателей, созванное, чтобы перепридумать идеологическое обоснование нового витка государственного террора и призвать литераторов к еще большей бдительности и мобилизации. События развивались столь стремительно, что организаторы не дождались прямого сигнала: напрямую Киршона и Афиногенова врагами не называли, но было очевидно, что они попали в опалу. Киршона обвиняли в «барско-пренебрежительном отношении» к молодым драматургам и в финансовых махинациях

на посту руководителя секции драматургов Союза писателей. Афиногенова тоже поругали за довольно расплывчато сформулированные ошибки, но конкретных санкций не последовало.

Александр Афиногенов (в центре) и Владимир Киршон (справа) на заседании оргкомитета Союза писателей. Москва, 1933 год

Государственный литературный музей

Несколько дней спустя Афиногенов описал в дневнике свою прогулку с женой по Москве (часто, описывая особо драматические события, он делал дневниковые записи в третьем лице): «Тяжесть, обрушившаяся на них, была слишком велика, чтобы еще говорить; они ходили обессиленные, щурясь от бившего в лицо солнца, — они не знали, куда идти, и шли просто так, по солнечной стороне, отогреваясь от леденящей душу тоски. <…> …Слишком близко от глаз и сердец их прошли фигуры их знакомых, ныне арестованных, — и пройдя — отбросили тень и на них».

Впрочем, в какой-то момент Афиногенову и Киршону могло показаться, что опасность миновала и жизнь входит в привычное русло. Киршон даже успел отметить премьеру своей новой пьесы «Большой день» в Театре имени Вахтангова. Пьеса, написанная по личному указанию Сталина, рассказывала о первых днях будущей войны: на Советский Союз неудачно нападает враг,

в котором легко угадывалась гитлеровская Германия, но уже на следующий день советские войска переходят в решительное наступление, а по всей Европе вспыхивает коммунистическая революция. В кульминационный момент пьесы холм с деревьями на сцене превращался в подземный ангар, и из-под земли прямо на публику вылетал самолет.

Двадцатого апреля «Литературная газета» вышла с передовицей, подводящей итоги советской литературы за пять лет, прошедших с момента ликвидации РАППа в апреле 1932 года. По большей части она была посвящена разоблачению литературных вредителей: «Прикрываясь двурушническими клятвами в верности линии партии, Авербах протаскивал в своих писаниях и речах троцкистские и бухаринские идейки». В этот же день партгруппа Союза писателей поставила вопрос об исключении Киршона из партии. Через три дня к газетной кампании подключилась серьезная артиллерия: в «Правде» появился блок статей, посвященных бывшим рапповцам. В Доме советских писателей состоялось собрание, на котором влиятельный идеолог Павел Юдин назвал Киршона и Афиногенова троцкистами и подвел итог: «В авербаховщину должен быть забит осиновый кол». Еще через три дня «Литературная газета» продолжила проработку. Попавшие под удар писатели назывались «троцкистскими ублюдками», «обнаглевшими врагами народа», «фашистскими агентами». В тот же день Генрих Ягода начал давать показания в Лубянской тюрьме: «…я решил сдаться. Я расскажу о себе, о своих преступлениях все, как бы это тяжело мне ни было. <…> Всю свою жизнь я ходил в маске, выдавал себя за непримиримого большевика. На самом деле большевиком, в его действительном понимании, я никогда не был».

Двадцать седьмого апреля Михаил Булгаков шел по Газетному переулку. Там его догнал Юрий Олеша и начал уговаривать прийти в Союз писателей, где было запланировано собрание московских драматургов. Олеша убеждал Булгакова выступить и рассказать, что Киршон был одним из организаторов его многолетней травли. Это было чистой правдой, но Булгаков отказался.

За ту неделю Киршон написал три письма Сталину: «… сегодня, в 7 часов вечера, собирают… общее собрание драматургов для моего отчета. В нормальной обстановке это была бы жестокая самокритика. Сейчас это будет чудовищное избиение, сведение всех счетов, вымещение на мне всех действительных и несуществующих обид. Никто не посмеет сказать ни слова в мою защиту, его обвинят в примиренчестве

к врагу. Меня будут бить все до одного, а потом это тоже выдадут как яркий факт общего ко мне отношения. От всего этого можно сойти с ума. Человеку одному трудно все это выдержать». Сталин ничего не ответил.

Отправляясь на собрание, и Киршон, и Афиногенов должны были понимать, что они оказались в чрезвычайной не только жизненной, но и языковой ситуации. На протяжении всей своей литературной карьеры они занимались освоением и созданием советского языка. Свою задачу они видели в том, чтобы переложить язык авторитетных инстанций (государственных декретов, газетных передовиц, речей вождей и т. д.) на язык драматургии — представить спущенные сверху идеологические установки как уже усвоенные и отложившиеся в речах и поступках своих персонажей. Читая в советской прессе стенограммы показательных процессов, они, как профессиональные драматурги, должны были понимать исчерпанность своей задачи. Газеты сами перешли на язык драматургии: заранее срежиссированные допросы обвиняемых старых большевиков были выстроены в стилистике советских пьес 1920–30-х годов, в которых двигателем сюжета становилось постепенное разоблачение замаскировавшихся врагов:

> «**Вышинский** [прокурор СССР]: На Горловском заводе была авария в отделении нейтрализации цеха аммиачной селитры?
>
> **Ратайчак** [бывший начальник Главного управления основной химической промышленности СССР]: Была.
>
> **Вышинский:** Какая именно?
>
> **Ратайчак:** Взрыв. Цех и завод в целом на несколько дней вышли из строя. Погибли трое рабочих.
>
> **Вышинский:** Вам известны их имена?
>
> **Ратайчак:** Забыл.
>
> **Вышинский:** Я вам напомню. Куркин Леонид Федорович, 20 лет, комсомолец, ударник, стахановец; Мостец Николай Иванович, слесарь; Стрельникова Ирина Егоровна, 22 лет, фильтровальщица. Кто их убил?
>
> **Ратайчак:** Мы».

Прокурор на процессе требовал от подсудимых полного и беспрекословного признания их уже установленной вины. У подсудимых не было никакой языковой стратегии, которая позволила бы им предложить собственную интерпретацию событий или хотя бы заронить сомнения в собственной виновности. Все их признания, раскаяния, мольбы о снисхождении заранее объявлялись увертками и попытками

уйти от ответственности. Политический террор государства был еще и языковым террором: люди, попавшие под подозрение, не могли найти слов, которыми они могли бы оправдаться или попросить о прощении.

Собрание драматургов открылось «информационным сообщением» Всеволода Вишневского[8]. С самого начала 1930-х годов Вишневский спорил с Афиногеновым и Киршоном о художественном методе, конкурировал с ними за зрителя и часто проигрывал. Теперь ему выпал шанс поквитаться. Как и было принято в таких случаях, Вишневский принялся исследовать политическую биографию Авербаха с самого начала 1920-х годов и разоблачать его связь с Троцким в те времена, когда эта связь никак не противоречила генеральной линии партии. Все последующие действия Авербаха тоже назывались троцкистскими. Основной виной Киршона становилось то, что он дружил с Авербахом и никогда не выступал против него. Отдельным обвинением была дружба с Ягодой.

После Вишневского слово взял Киршон. Он признавал свои тяжелые ошибки, но отказывался сознаться в преступлении против партии: «Я пятнадцати лет вступил в комсомол и с пятнадцати лет пошел на фронт, дрался на фронте. С пятнадцати лет, собственно говоря, я начал воспитываться партией. Помышлять против партии я не могу. <…> Я оказался слепцом, я оказался политически близоруким человеком, я не разгадал врага, я был фактически пособником вредительской, троцкистской деятельности, я был человеком, который мог более других предотвратить эту деятельность. <…> Но я заявляю, что я неповинен ни в одном помысле против моей партии». Выступление Киршона прерывали смехом и выкриками с мест.

Следующим говорил Афиногенов. Так же как и Киршон, он подобрал физиологическую метафору, чтобы описать свое состояние: «…та ядовитая болезнь, имя которой авербаховская проказа, болезнь, которой я глубоко болел и болею, — эта болезнь нуждается в хирургическом вмешательстве». Он утверждал, что все его слова были искренними и что он «никогда сам с собой так не говорил», как говорил с участниками собрания. Афиногенов многое рассказал не о своей политической биографии, а о личной жизни — о своих визитах на дачу к Ягоде, о ссорах с женой, о бытовом конфликте с Киршоном. Главное, что внешнюю чистку Афиногенов представил в виде уже свершившегося внутреннего конфликта — не разрушительного, а плодотворного: «В эти страшные для меня дни, которые я пережил, дни беспощаднейшей внутренней ломки,

я много, очень много продумал, что эта ломка есть вместе с тем и очищение от всей скверны, которая изуродовала меня, продуктом которой я был и семена которой я сам взращивал в других людях, окружавших меня». Не найдя слов для оправданий, Афиногенов сфокусировался на том, чтобы рассказать о своей внутренней жизни. Он представил ее в категориях, в которых грешник мог бы описать мистическое откровение и перерождение. Полнота перенесенных страданий и демонстрация душевных ран должны были убедить собравшихся в реальности обращения к новой вере.

Владимир Киршон. Фотографии из следственного дела. 1937 год
Государственный литературный музей

Итог собрания был предрешен заранее, но, чтобы усилить эффект, в течение последующих дней выступили несколько десятков писателей, каждый из которых нашел новые слова для того, чтобы обличить и отмежеваться от Киршона и Афиногенова. Киршона называли «самовлюбленным фразером» и «литературным гангстером», его речь — «адвокатской»; Афиногенова — «тряпкой», а выступление — «вывернутым наизнанку», сделанным «под маской опсихоложенной души». Писатель Николай Панов так сформулировал свои впечатления: «Во время речи Афиногенова жутко было наблюдать, как за мелодраматическими жестами стройного джентльмена проступает самовлюбленный мещанин».

После третьего дня собрания драматург Александр Гладков записал в дневнике: «Я слушал и смотрел на все это с жадным интересом, словно присутствовал на заседании Конвента в день падения Робеспьера. Масштаб, конечно, иной, но и тут тоже не игрушки, и тут пахнет кровью, и тут тоже кончаются судьбы, а может быть, и чьи-то жизни. На улице веселый апрель, предпраздничная суетня, красные полотнища, подготовка иллюминаций. Весело кричат, играя, дети, магазины переполнены». Третьего мая драматурги собрались в последний раз и приняли решение поставить вопрос об исключении Афиногенова и Киршона из рядов Союза писателей. Исключение из партии оставалось вопросом времени.

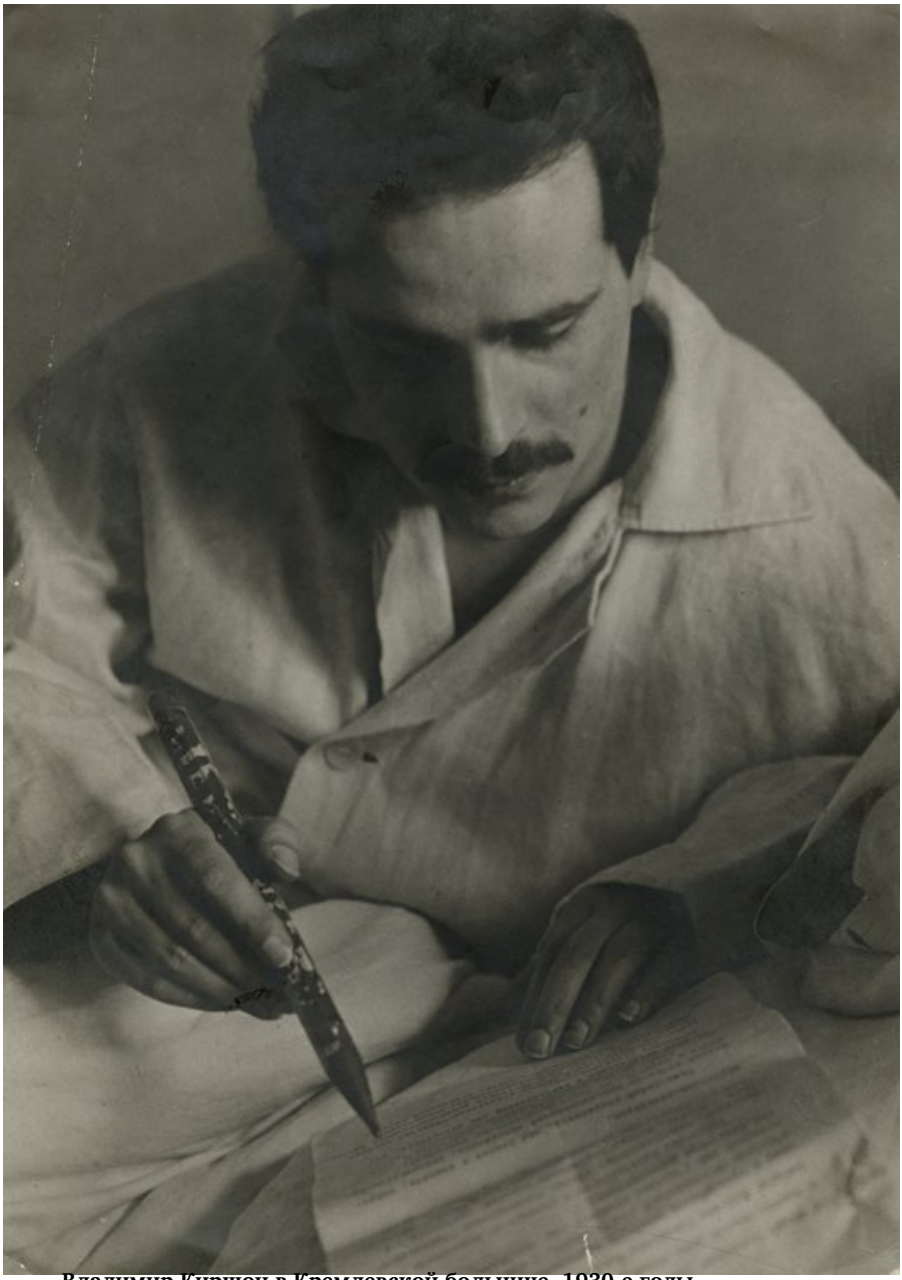
Через два дня на последней странице «Литературной газеты» появилась карикатура «По широкому раздолью»[9]: на ней был изображен многопалубный корабль, плывущий по только что построенному каналу Москва — Волга. На корабле в порядке своей значимости располагались советские писатели. На верхней палубе стояли Алексей Толстой и Михаил Шолохов, под ними — Исаак Бабель и Александр Фадеев; на рвущемся канате к кораблю была привязана лодочка, в которой сидел Борис Пастернак. К этому моменту он уже был в опале — времена, когда его избирали в президиум съезда писателей, остались позади. Карикатуру сопровождала стихотворная экспликация. После перечисления всех пассажиров корабля и их заслуг через отточие шли стихи, посвященные Афиногенову и Киршону:

Но тех, кто повернули круто,
Но тех, кто вышел из границ,
Нет ни у борта, ни в каютах.
Развенчанные «литвожди»
Хотели править на Парнасе,
Хотели б ехать впереди
В самостоятельном баркасе,
Чтоб реял флаг у них другой,
РАПП-авербаховского толка,
Чтоб вел Киршон своей рукой
Свое суденышко на Волгу…
А вплавь за другом, несомненно,
Пустился бы Афиногенов…
Гремело б авторское Я!..
Но нет — дырявая ладья
Не поплывет по волжским водам.
Бьет свежий ветер, и погода
Отставшим предвещает шторм.

Через неделю был арестован писатель Давид Штерн, разоблаченный как шпион гестапо. Критики, незадолго до этого называвшие его книги справедливой и мужественной критикой фашизма, теперь обернули все написанное им против него же самого. Называя Штерна его немецким псевдонимом, они писали: «У Карла Штеффена из рассказа и у Георга Борна есть семейное сходство: оба они мерзавцы, продажные люди, отребье. Но Георг Борн для того и писал рассказ о Карле Штеффене, чтобы запрятать себя самого. Как видим, ему это не удалось».

***

Тридцать первого июля 1954 года Юрий Олеша записал у себя в дневнике сон, в котором фигурировали его друзья и знакомые. Одним из героев сна был Владимир Киршон, расстрелянный за шестнадцать лет до этого. Все эти годы имя Киршона не только было под запретом, но и продолжало приносить несчастья: в 1951 году сын Киршона Юрий был арестован как «потенциальный мститель за отца» и осужден на двадцать пять лет. Ситуация изменилась только после смерти Сталина, когда начался медленный процесс реабилитации жертв террора.



Владимир Киршон в Кремлевской больнице. 1930-е годы
Я. Н. Халип / Государственный литературный музей

Во сне Киршон появлялся в глубине какой-то большой аудитории и шел навстречу Олеше. Его появление произвело сенсацию на окружающих — было понятно, что он вернулся из ссылки. Киршон подошел к Олеше, пожал ему руку и попросил передать Афиногенову, что он купил дом. «В этой кажущейся бессмыслице, конечно, есть связь, смысл. <…> Мы, конечно,

сами создаем эти фигуры, и поэтому чем прекрасней получается фигура, тем больше свидетельствует это о хорошем нашем отношении, так сказать, к оригиналу», — записал Олеша.

Источники

Борн Г. Единственный и гестапо. М., 1936.

Гладков А. Из дневников (1937). Наше наследие. № 107. 2013.

Олеша Ю. Книга прощания. М., 2001.

Сталин И. Сочинения. Т. 14. М., 1997.

Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М., 2011.

Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997.

Дневник Елены Булгаковой. М., 1990.

Литературная газета. Вып. от 6, 20 и 26 апреля, 1 и 5 мая 1937 года.

Правда. Вып. от 28 мая 1937 года.

Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года). М., 1937.

Реабилитация: как это было. Март 1953 — февраль 1956. М., 2000.

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Фонд Союза советских писателей в РГАЛИ. Ф. 631.

«Я оказался политическим слепцом». Письма В. М. Киршона Сталину. Источник. № 1. 2000.

Goldman W. Z. Inventing the Enemy: Denunciation and Terror in Stalin's Russia. Cambridge University Press, 2011.

Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Harvard University Press, Cambridge, 2006.

Глава 3. В траве

11 июня 1937 года Верховный суд СССР на закрытом заседании рассмотрел дело восьми высших советских военачальников во главе с маршалом Тухачевским. Всех их обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства и приговорили к расстрелу. В тот же день руководители заводов и фабрик по всей стране получили задание провести митинги в поддержку приговора «оголтелой фашистской банде шпионов». Чтобы продемонстрировать единство трудового народа и интеллигенции, одобрение процесса требовалось и от Союза советских писателей. В коллективном письме члены организации должны были выразить благодарность Ежову и потребовать расстрела.

Скульптура Сталина на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 1939–1940 годы

Владислав Микоша / Мультимедиа-арт-музей / История России в фотографиях[10]

Легче всего собрать подписи писателей можно было в Переделкино, где советский литературный истеблишмент проводил лето. Этот дачный поселок, придуманный Горьким в середине 1930-х — во времена больших надежд на политическую и культурную либерализацию, — должен был стать идеальным местом: писатели творили бы и общались между

собой вдали от московской суеты. Переделкино органично встраивалось в замысел единого Союза советских писателей: партийные и беспартийные литераторы должны были жить вместе и благотворно влиять друг на друга (партийные учили бы коллег идеологической выверенности, беспартийные — художественному мастерству).

С приездом первых дачников Переделкино действительно превратилось в центр литературной жизни: писатели стали ходить друг к другу в гости, устраивать читки своих произведений и обсуждать последние новости. Впрочем, у нового руководства Союза писателей такая дружба в 1937 году могла вызвать лишь раздражение: пришедшие после смерти Горького литературные бюрократы во главе с Владимиром Ставским были заинтересованы в единомыслии и подконтрольности организации. Один из сексотов[11], внедренных в писательскую среду, сообщал НКВД: «Переделкино… становится центром особой писательской общественности, пытающимся быть независимым от Союза совет[ских] писателей. <…> Многие обижены, раздражены, абсолютно не верят в искренность руководства Союза советских писателей, ухватились за переделкинскую дружбу как за подлинную жизнь писателей в кругу своих интересов».

Днем 11 июня машина с посланником Ставского остановилась перед дачей Бориса Пастернака. Услышав предложение подписать письмо, Пастернак пришел в ярость: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. <…> Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Отказ Пастернака вызвал переполох в Союзе. В Переделкино срочно приехал Ставский и вызвал Пастернака на разговор. Весь 1937 год Ставский занимался тем, что привлекал писателей к идеологическим кампаниям и внимательно следил за соотношением партийных и беспартийных в каждой из них. Он опасался, что отказ Пастернака будет воспринят как изъян в его работе. Ставский кричал на Пастернака: «Когда кончится это толстовское юродство?» Когда Пастернак вернулся от Ставского, его стала уговаривать жена — беременная в тот момент Зинаида Нейгауз. Она просила его передумать ради будущего их ребенка. Пастернак оставался непреклонен. Разговор подслушивал агент, сидевший под окнами дачи.

Террор радикально изменил очертания политического пространства: политика вторглась в самые интимные сферы человеческой жизни. Разговор с женой на даче превратился

в публичный политический жест, от которого зависели жизни людей. Из элитарного убежища для отдыха и творчества Переделкино стало пространством, где любой бытовой жест мог иметь политические последствия: к кому ходить в гости, с кем здороваться и с кем разговаривать через забор, больше не было частным делом.

Борис Пастернак (справа) на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. 1934 год

Государственный архив кинофотодокументов, Красногорск / История России в фотографиях

Ночью Пастернак ждал ареста. Зинаида собрала чемодан с вещами, но за ее мужем так и не пришли. На следующий день в «Известиях» появилось коллективное письмо советских писателей «Не дадим житья врагам Советского Союза!» Пастернака обманули: под письмом стояла и его подпись. К этому моменту все военачальники уже были расстреляны.

***

Апрельское собрание, на котором Афиногенов подвергся проработке, означало для него социальную смерть: драматург, убедительно изображавший в своих пьесах, насколько фатальной может оказаться для человека неспособность стать частью

сообщества «настоящих» советских людей, сам оказался изгоем. За пару недель Афиногенов убедился, что его исключительное по советским меркам материальное благополучие и успех в обществе превратились в прах. В дневнике он с болью фиксировал «отпадение людей»: знакомые при встрече старались перейти на другую сторону улицы, близкие друзья перестали звонить, опасаясь (весьма оправданно) наказания за связь с «врагом». О предложениях новой работы тоже не могло идти речи, а значит, Афиногенов должен был впервые за долгое время задуматься об экономии.

Террор низвергал недавних представителей советского истеблишмента на самое дно социальной иерархии и полностью менял привычное им пространство. В начале мая Афиногенов узнал, что его решили выселить из четырехкомнатной квартиры в доме НКВД в Большом Комсомольском переулке. Вместо этого ему предложили выехать в две комнаты на окраине Москвы, в Коптево, в неоштукатуренном доме, где не было электричества, воды и канализации. В такие дома переселяли родственников репрессированных чекистов и военных. В таких домах жили те, кто только начинал путь к успеху в советском обществе, — те, кто всеми силами старался попасть в Москву и закрепиться в ней. Афиногенов отказался переезжать в Коптево и вместе с женой и двухмесячной дочкой поселился на даче в Переделкино — вдали от грозящего опасностью города, среди писателей, многие из которых тоже опасались проработки или ареста.

Основным занятием Афиногенова в те дни стали попытки осмыслить эту личную катастрофу и найти язык для ее описания. Важным инструментом в этом процессе стал дневник. Афиногенов вел его с середины 1920-х годов и записывал в основном бытовые наблюдения, цитаты и мысли, чтобы использовать их в дальнейшей работе. В 1937 году характер дневника сильно изменился: с момента апрельского собрания Афиногенов почти ежедневно делал в нем подробные записи, в которых фиксировал изменение собственных взглядов и анализировал свое эмоциональное состояние.

Афиногенов болезненно пытался совместить несколько разных объяснений случившегося. С одной стороны, он предложил интерпретацию террора как по-настоящему благотворной силы: «Дни великого очищения! Чем злее и страшнее слова по моему адресу — тем больший подъем духа. Совсем не страшны слова, совсем не злые люди, они говорят правильно — со своих точек зрения, я же сам для себя произнес гораздо более жестокий приговор… <…> Совсем другая жизнь должна начаться. Жизнь с „третьим“ моим — наблюдать за собой

со стороны, как по капле будет он, этот оплеванный и сброшенный на землю третий, — выдавливать из себя яд пошлости и пустоты, внутренней бесплодности и неумения видеть людей, понимать их радости и боли, жить людьми, а не самим собой». Такой взгляд требовал эскапистской линии поведения: Афиногенову надлежало отстраниться от политической повестки и языка газетных кампаний и сосредоточиться на собственной внутренней жизни и нравственном перерождении, которое в конечном итоге и должно было привести к его реабилитации.

С другой стороны, Афиногенов пытался объяснить логику террора внешними политическими процессами. Развивая официально санкционированную мнительность, Афиногенов выстраивал версию фашистского заговора внутри Союза писателей: «Может быть, кто-то сейчас радуется и потирает руки и подталкивает на дальнейший размол всех и вся — скорей, скорей, кончайте с ним, его пьесы слишком долго агитировали за коммунизм, теперь будет сброшен он, с ним его пьесы — и будет превосходно всё, и будут тогда плясать наши ручки на штучках… <…> Я уже на дне, наверху гудит жизнь, а у меня голова гудит — от тяжести воды надо мной, — кто-то в фашистской свастике спихнул меня на дно и теперь радуется, да-да…» По этой версии все выступавшие против Афиногенова в газетах и на собраниях на самом деле были фашистскими агентами на задании. Такая логика, наоборот, предписывала линию максимальной политической включенности: пристальное внимание к новостям и идеологическим изменениям — реабилитации можно было ждать в любой момент, сразу после того, как чекисты раскроют заговор. Афиногенов не был единственным, кто обдумывал конспирологическое объяснение террора: тем же летом поэт Илья Сельвинский, тоже пережидавший опалу в Переделкино, написал пьесу «Ван-Тигр». Главный герой пьесы — поэт, сосланный на Дальний Восток за поэтические эксперименты, — разоблачает японский фашистский заговор, ставящий своей целью подорвать в советских людях творческий дух и обеспечить торжество бездарности.

Две версии одновременно и противоречили одна другой, и дополняли друг друга: расходясь в понимании механизмов террора (заговор врага vs внутренняя чистка), они не подвергали сомнению оправданность террора и шли по пути усвоения и творческого переосмысления его лозунгов. Разработка, дополнение и усложнение двух этих версий и составили основное интеллектуальное содержание дневника Афиногенова 1937 года.

В первые дни после проработки центральное место в дневниках Афиногенова занимали образы падения: герой дневникового повествования (иногда «я», иногда «он», «писатель»), сброшенный врагами или низвергнутый справедливой силой, оказывался на земле, в грязи, не в силах подняться («подостлали апельсиновую корку, дали подножку, опрокинули, я разбил затылок, и голова гудит»). Одновременно с этим падение трансформировалось в дневнике из момента унижения в сцену изменения привычного пространства и оптики: упавший «я» оказывался не в грязи, а в траве, откуда можно было смотреть в небо или наблюдать за жизнью насекомых («если меня вышвырнут и забудут — тогда три месяца лежать на траве, смотреть в небо и спать, спать, спать, ни о чем будущем не думая»). Такая оптика диктовала внимательный интерес к природе, малейшим ее движениям и изменениям как к проявлению настоящей жизни и источнику душевного здоровья.

16 мая, спустя две недели после рокового собрания, Афиногенов записал речь, которую он хотел бы произнести перед своими обвинителями, но решился — только перед переделкинским ручьем и муравьем: «Но ведь я-то, тот самый, которого привязали к столбу посохнуть и напустили мух, чтобы щекоткой довести до сумасшествия (ох, как боялся я спятить с ума в эти дни), я-то ведь знаю, что под корой грязи и смрада есть мое живое тело, здоровое и невинное ни в чем, кроме простого желания жить. Я-то ведь знаю, что грязь, как бы она ни была противна, отсохнет и упадет, — а потом, будет время, я пойду, отвязанный, к ручью и смою с себя остатки ее и снова буду чист». Ручей и муравей стали его аудиторией неслучайно: растворение в природе оказывалось альтернативой смертельно опасной общественной жизни с собраниями и проработками. Земля и трава были не просто убежищем, а местом для самосозерцания и размышлений: «День такой, как будто природа спешит вознаградить меня за все переживания — и солнце льется с неба, жаркое, небо синее, без облачка — приятно лечь на траву и смотреть в небо, следя за собственными мыслями».

В это время в лубянской камере ждал показательного процесса другой советский интеллектуал — Николай Бухарин. За время, проведенное в тюрьме, он написал два философских трактата, автобиографический роман и книгу стихов. Одно из стихотворений Бухарина называлось «В траве». Оно начинается подробным описанием того, как разнообразные насекомые «наслаждаются жизнью» — копошатся, жужжат, перелетают с цветка на цветок, убивают друг друга: «Через палочку сучка /

Тащит муравей жучка, / Суетится и бросает, / Снова за ногу хватает / И упорно волочит / Жертвы мертвой черный щит». Лишь в самом конце появляется лирический герой: «Я лежу в траве душистой, / Весь овеян золотистой / Паутиною лучей / И безмолвием речей…»

Погружение в природу превратилось у Афиногенова в регулярные повседневные практики. Он фиксировал в дневнике время, проведенное на природе (гулял, лежал в траве, глядел на закат, прислушиваясь к пению птиц и шороху листьев). Афиногенов в деталях описывал, как к нему вернулось удовольствие от ручного труда: он завел огород, колол дрова или, как Левин из «Анны Карениной», с удовольствием косил траву. Описывая единение с природой и живительный эффект такого единения, автор дневника ориентировался на русский литературный канон. Во время опалы он очень много времени уделял книгам, особое место среди которых занимал роман «Братья Карамазовы». Афиногенов проводил прямые параллели между собой и героями Достоевского: «Алеша Карамазов упал на землю и плакал от непонятных чувств, он встал с земли другим, возмужавшим, готовым к трудной жизни… Но он припал к земле, земля дала ему силу… Вот так же вот и мне надо ощутить ласку природы, чтобы стать сильнее».

Однако надолго перевести дух и поверить в стабильность новой жизни в гармонии с собой и природой не получалось: запущенный Сталиным террор был в самом разгаре. 28 июня арестовали писателя Владимира Зазубрина, выбравшего похожую с Афиногеновым стратегию выживания во время террора. За несколько месяцев до ареста он обзавелся коровой, завел цыплят, построил баню, погреб и скамейку на краю обрыва, «чтобы по вечерам сидеть и думать, как Лев Толстой». Через три дня Афиногенов записал в дневнике: «Из головы не идет Зазубрин. Он ведь собирался прочно сесть тут, вывел постройки, работал, как Робинзон, огораживая себя и по-кулацки собирая каждую щепку в лесу… Он рассчитывал надолго, до конца жизни, может быть, — и вот все сломалось, пришло, как смерть, — и, сидя в камере, теперь ему, наверное, все равно — и баня, и погреб, и цыплята. <…> Закрывая в последний раз глаза, еще раз убедится он, как все это было не нужно и в душе своей он ничего не сберег для себя…»

31 июля арестовали Бруно Ясенского, писателя, шедшего через запятую после Киршона и Афиногенова в статьях про «авербаховских троцкистов». Афиногенов три дня не вел дневник и ждал ареста. На четвертый день он записал в дневнике программу действий: «1. Уйти и жить некоторое время одному,

без забот о доме, без тревог за писательскую судьбу. 2. В этой тишине писать и писать — теперь знаю, куда клонит сердце, теперь могу понимать людей, теперь вырос уже недосягаемо, по сравнению со мной, год назад бывшим… 3. Никогда не завидовать никому, эта зависть уже навсегда умерла во мне, и в любых лишениях — всегда помнить о том, что у тебя в жизни все уже было — а кто дал тебе право жить так вот мирно, без катастроф и падений?» Чуть ранее в дневнике он даже установил конкретный срок, отпущенный на реализацию этой программы, — июль 1940 года.

Программа Афиногенова подразумевала трансформацию быта, творчества и личности. Принципиально важную роль в проекте по переделке себя, по мысли Афиногенова, играло творчество: оно служило индикатором успеха трансформации и давало право вернуться в сообщество настоящих советских людей. Афиногенов следовал логике сталинского афоризма о писателях — «инженерах человеческих душ», только на этот раз творческой переделке он должен был подвергнуть свою собственную душу. В Переделкино Афиногенов нашел неожиданного союзника для своего проекта.

После демарша с отказом подписать письмо о расстреле военачальников живший на даче Пастернак оказался в опале и изоляции. При этом он демонстративно игнорировал нависшую угрозу и продолжал общаться с другими опальными писателями. Среди них был и Афиногенов: Пастернак — художник, погруженный в собственное творчество и не читающий газет, — воплощал идеал полноценной жизни.

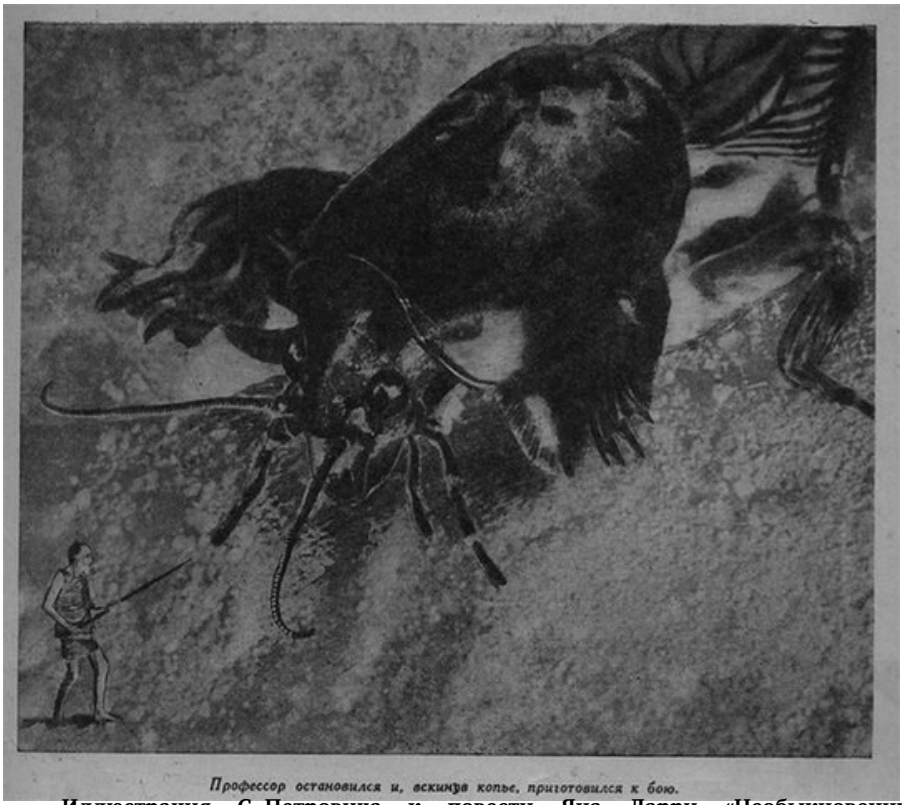


Иллюстрация С. Петровича к повести Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»

В феврале 1937 года ленинградский журнал «Костер» начал публиковать повесть Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Задуманная и воспринятая современниками как увлекательное путешествие в мир энтомологии, повесть отсылала к реалиям, сквозь которые просвечивала атмосфера террора. Маленькие дети оказались голыми и беззащитными в мире гигантских насекомых, каждая секунда в котором грозила им смертельной опасностью.

Журнал «Костер», 1937 год

Иллюстрация С. Петровича к повести Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
Журнал «Костер», 1937 год

Однако официальное искусство того времени изображало советского человека смотрящим сверху и вдаль — обозревавшим бескрайние просторы покоренной и преобразованной природы и с напряжением и радостью всматривающимся в будущее, в историю. При этом он должен был быть частью огромного сообщества советских граждан, объединенных общими действиями (подписать коллективное письмо, принять участие в митинге, вместе со всей страной слушать сталинскую речь о Конституции или новости о папанинцах). Идея погружения в творчество, неучастия в общественной жизни воспринималась официальной риторикой как еретическая.

Чтобы обосновать эту неортодоксальную модель поведения, Афиногенову требовался более авторитетный источник, чем русская классика или Пастернак. Таким источником стало

высказывание Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) пятого марта 1937 года. В конце речи неожиданно для собравшихся генсек ударился в рассуждения о мифологическом герое Антее: «В чем состояла его сила? Она состояла в том, что каждый раз, когда ему в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая родила и вскормила его, и получал новую силу. <…> Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея. Они так же, как и Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми». В дневнике Афиногенов назвал эти слова «молнией, которая вырезает на граните знаки исторических рубежей». Для партийных идеологов пассаж об Антее оказался настолько важным, что им завершили главное идеологическое сочинение раннего сталинизма — «Краткий курс истории ВКП(б)». Сталинские слова становились удобной проекцией собственной жизни Афиногенова: большевик, ставший жертвой террора, приобретал силу от соприкосновения с землей.

29 августа Афиногенов пришел в гости к Пастернаку слушать отрывки из его нового романа — и пришел в совершеннейший восторг от услышанного. «Во сне я разговаривал фразами Пастернака — короткими, образными, запоминающимися. <…> Это — мои фразы, мне всё снилось, что я уже начал роман и пишу, наслаждаясь одиночеством и тишиной». На следующий день он дал себе обещание хоть час-два в день думать о романе и записывать первые наброски. Отказ от драматургии был для Афиногенова радикальной сменой жанра. Первого сентября он, по всей видимости, узнал об аресте Владимира Киршона. По логике того времени это должно было означать, что он следующий.

Источники

Бухарин Н. Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. М., 2008.

Пастернак З. Воспоминания. Письма. М., 2016.

Сельвинский И. Ван-Тигр. РГАЛИ. Ф. 1604. Оп. 1. Ед. хр. 1072.

Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. М., 1997.

Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005.

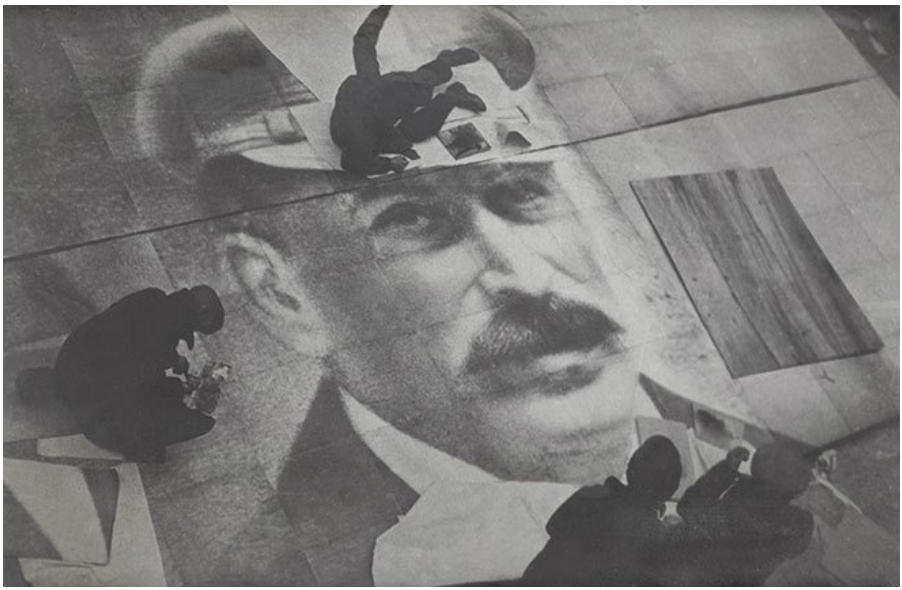
Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937. М., 2011.

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б) — ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 годы. М., 1999.

Известия. Вып. от 12 июня 1937 года.

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Глава 4. Допрос



Портрет Сталина на площади Свердлова (нынешняя Театральная). Фотография Густава Клуциса. 1933 год
Getty Images

Следователь. Садитесь.

Я. Благодарю вас.

Сл. Курите?

Я. Нет, до сих пор не курил.

Сл. Почему «до сих пор»?

Я. Может быть, теперь закурю. А может, и нет. Все зависит от усилия воли. А у меня это усилие очень значительное. Не хочется разрушать легкие.

Сл. Понимаю. Одобряю. Теперь к делу. Рассказывайте.

Я. Что?

Сл. Все, что знаете.

Я. Я не совсем вас понимаю. Как это «все, что знаете»?

Сл. Вот что. Давайте условимся с первого раза — не надо притворяться, прикидываться, играть. Нам все известно.

Так начиналась запись, озаглавленная «Протокол допроса», которую Афиногенов сделал в своем дневнике 4 сентября 1937 года. Во время этого допроса говорил почти исключительно Афиногенов, а следователь лишь изредка прерывал его короткими ремарками или вопросами. Афиногенов излагал следователю то, о чем думал на протяжении четырех месяцев, прошедших с момента собрания, на котором его прорабатывали драматурги. Он рассказывал о том, что не знает за собой никакой личной вины; о том, что пострадал от действий неразоблаченных врагов партии — советских литературных функционеров; о том, что всегда тяготился своей связью с Ягодой, но не мог допустить и мысли о том, что высокопоставленные чекисты — враги; о том, что за время опалы пережил глубокое нравственное перерождение; о том, что готов пострадать, если этого требуют высшие государственные соображения. Только ближе к самому концу записи становится понятно, что никакого допроса на самом деле не было и что он от начала до конца придуман. Впрямую это проговаривается в том месте, где речь заходит о достоверности дневников Афиногенова:

> **Сл.** Запискам вашим я не верю.
>
> **Я.** Я и это знал.
>
> **Сл.** Почему?
>
> **Я.** Потому что раз человек ждет ареста и ведет записки, ясно, надо думать, он ведет их для будущего читателя-следователя и, значит, там уж и приукрашивает все, как только может, чтобы себя обелить… А прошлые записки, за прошлые годы, так сказать, «редактирует» — исправляет, вырезает, вычеркивает. Ведь так вы подумали?
>
> **Сл.** Так.
>
> **Я.** И я об этом думал, и передо мной несколько раз вопрос стоял — не лучше ли прекратить записки свои с того момента, когда я понял, что меня должны арестовать? А потом решил — нет, не надо… Ведь в глубине души я все равно не верил, что меня арестуют, и вот, видите, наш с вами первый разговор даже записал, фантазируя, но подробно.

Так сквозь вымышленного следователя проступает следователь реальный, который, по мысли Афиногенова, должен был вскоре прочитать эти записки. Допрос демонстрирует свою

фиктивность и одновременно с этим превращается в настоящую исповедь перед реальным следователем:

> «А что касается того, что вы запискам не поверите, так это, естественно, так и будет, хотя, конечно, если бы вы в них нашли вредные мысли или даже анекдоты, вы бы тогда им поверили, то есть с другой стороны, стороны обвинения моего… Но и это понятно. Но вы не верите написанному мной для себя, я и это знал, об этом думал, и это сразу мне облегчило решение задачи — да, надо продолжать писать. Потому что если б я думал, что вы будете верить запискам, то я бы писал как бы для постороннего человека, прощай моя откровенность с самим собой — все равно я бы чувствовал ваш будущий глаз на этих страницах. А раз я знал уже, что вы все равно не поверите ничему и только усмехнетесь, прочтя мною записанное, — я сразу избавился от вашего присутствия для меня при работе над дневником и опять стал писать свободно и просто, как раньше, в прошлые годы…»

Вымышленный разговор со следователем, записанный в дневнике Афиногенова, ставит вопросы, которые в конце 1930-х годов возникали в голове у жертв сталинского террора, а сегодня возникают у исследователя того времени. Каким образом незримое и неизбежное присутствие следователя НКВД влияло на характер автобиографического письма жертвы? Как воспринимать такие свидетельства: как искренние или как фальшивые? Афиногенов, используя знакомую любому советскому интеллектуалу технику диалектического снятия противоречий, дает парадоксальный ответ: чем больше он был уверен, что его дневники будут читать в НКВД, тем откровеннее он писал.

***

Максим Горький и сотрудник ОГПУ, руководитель Болшевской трудовой коммуны для перевоспитания малолетних правонарушителей М. С. Погребинский. Фотография Н. Науменкова. 1929 год
ИТАР-ТАСС

Советские писатели 1930-х годов сделали многое для героизации чекистов. Работники ОГПУ и НКВД появлялись на страницах книг и выводились на сцену как бесстрашные, проницательные служители социалистической законности, готовые ради интересов родины пренебречь отдыхом, сном и личной жизнью. Их миссия, однако, не ограничивалась поимкой преступников и иностранных шпионов, чекисты изображались как настоящие хранители коммунистической сознательности. В силу специфики работы им приходилось с помощью допросов и убеждений препарировать души подследственных, чтобы определить, с кем они имеют дело — с неисправимыми врагами или запутавшимися людьми, которым можно дать второй шанс.

Самым известным проектом, прославлявшим чекистов, была поездка советских писателей[12] на Беломорско-Балтийский канал в 1933 году и вышедшая по ее следам коллективная монография.

Путешествие по каналу, на строительстве которого погибли несколько десятков тысяч человек, привело писателей в восторг: они признали в чекистах настоящих «инженеров человеческих душ». «Мне не приходилось раньше видеть ГПУ в роли воспитателя, и то, что я увидел, было для меня чрезвычайно радостным», — писал Михаил Зощенко. В многочисленных текстах, посвященных строительству канала, покорение суровой северной природы выступало лишь метафорой более сложной работы — изменения человеческой природы и перековки душ заключенных, с которой чекисты справились блестяще. В этом контексте разговор с чекистом представал для Афиногенова не только актом насилия, но и долгожданной проверкой подлинности случившегося с ним перерождения.

Подлинность своего перерождения Афиногенов должен был доказать не только следователю. Еще раньше на страницах дневника он разделил свою личность на две составляющие: себя внешнего, другого, «третьего», и себя, анализирующего поступки этого другого: «Жизнь с „третьим“ моим — наблюдать за собой со стороны, как по капле будет он, этот оплеванный и сброшенный на землю третий, — выдавливать из себя яд пошлости и пустоты, внутренней бесплодности и неумения видеть людей, понимать их радости и боли, жить людьми, а не самим собой». Террор вынуждал жертву абстрагироваться от собственной жизни и оценивать свои мысли и поступки с точки зрения внешнего наблюдателя. Поэт Илья Сельвинский, также переживший в 1937 году проработку, говорил в одной из бесед с Афиногеновым: «Пушкин умер в 37 лет, Лермонтов тоже, мне сейчас тридцать семь. Буду думать, что я уже умер, как Пушкин, и сейчас вместо меня живет другой человек, с интересом наблюдающий, как расправляются с памятью умершего Сельвинского».

Не случайно Афиногенов часто писал о себе в дневнике в третьем лице: «приехали гости, он вышел навстречу, загорелый, небритый, спокойный и уверенный»; «опять, опять охватило его чувство радости за то, что он живет и наблюдает»; «в нем еще слишком живо прошлое, ему еще хочется говорить и обращать на себя внимание — это очень плохо, это все наносное, это должно умереть в нем, чтобы можно было вырасти чему-то совершенно новому, настоящему, ростки которого уже заложены в нем». В жесте остранения от собственной жизни человек, переживавший террор, уподоблялся следователю, изучающему материалы уголовного дела и допрашивающему подследственного. Следователь и подследственный совпадали — жертва террора становилась исполнителем террора

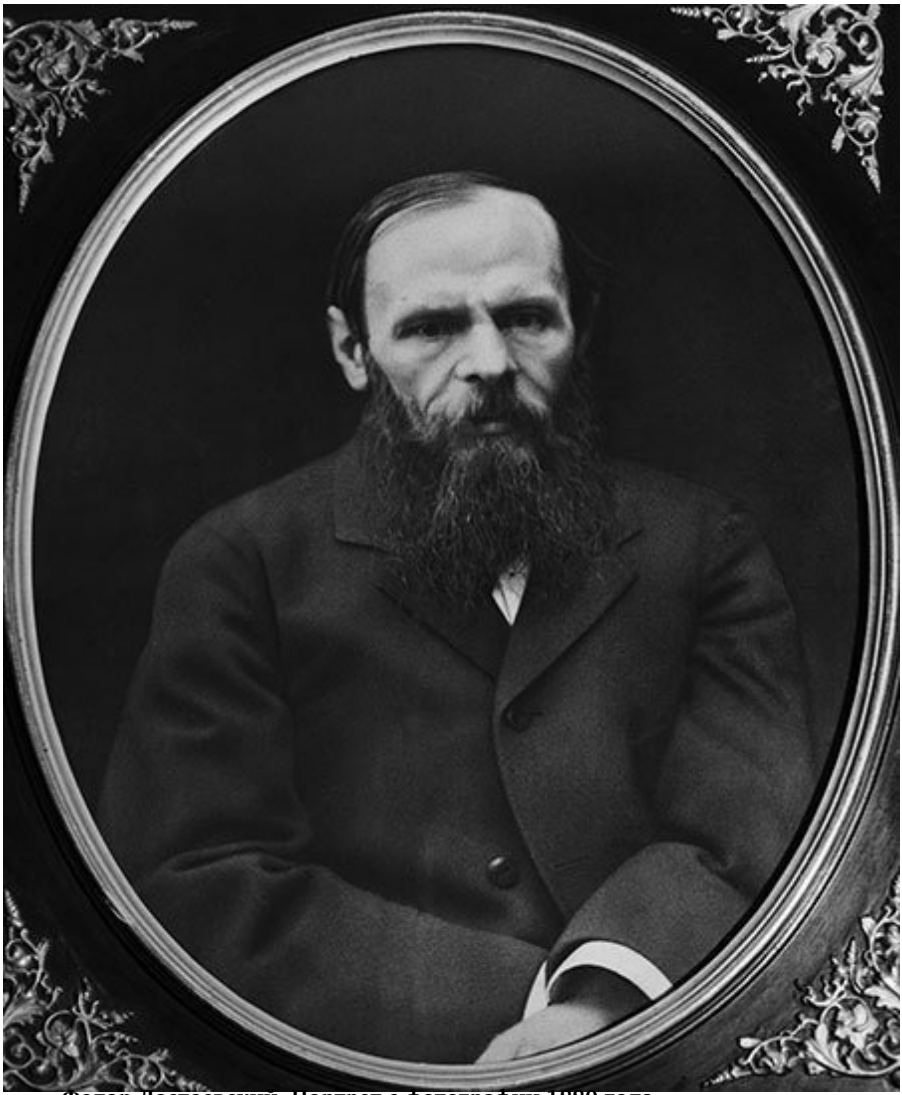
и допрашивала себя сама.

Всю середину 1930-х годов Афиногенов в выступлениях и пьесах обосновывал, что в советском обществе не может быть множества «субъективных» правд и существует только одна «объективная» правда большевиков, а сомнения и внутренняя рефлексия — отличительный признак психологически раздробленных врагов советской власти. В годы террора установка на выяснение истины превратила дневник Афиногенова в поле непрекращающегося диалога: окончательная истина в нем не прояснялась, а голос спрашивающего имел не меньшее значение, чем голос отвечающий.

Дневник Афиногенова полон вопросов: «За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы?», «Где же люди? Где голоса помощи и одобрения? Где спасение и жизнь?», «Никто не собирается приезжать за мной и не приедет. <…> Откуда я выдумал этот приезд?» Каждый раз писатель пытался дать на них окончательный ответ, но вопросы возникали снова[13].

Невозможность получить внятные ответы на важнейшие вопросы привела к тому, что Афиногенов расширил круг авторитетных инстанций. На страницах дневника он вел диалог с официальной советской прессой (при этом не только с радостью реагировал на новости об очередных советских достижениях, но и указывал на шаблонность и неискренность многих публикаций). Но гораздо важнее для него было обращение к воображаемому идеальному сообществу советских людей. Про их поступки и достижения писали газеты, звуки их выступлений и парадов передавали по радио: «Они, эти люди, сейчас маршируют по Красной площади, радио передает их смех, крики „ура“ и радостные песни — ты сейчас не среди них, это ужасно больно, — но заслужи право вновь вернуться к ним, и верь мне — они с радостью дадут тебе билет на демонстрацию и ты снова пойдешь с ними плечо к плечу…» Это сообщество и должно было оценить усилия Афиногенова по перестройке собственной личности.

Еще одним важнейшим авторитетным источником была литературная классика, как русская, так и мировая. За время своей опалы Афиногенов запойно прочел несколько десятков книг — особенно сильное впечатление произвели на него Ромен Роллан, Кнут Гамсун, Чехов и Толстой. Литературная традиция психологической реалистической прозы давала Афиногенову язык, чтобы описать состояние человека в момент внутренней трансформации: в каждой из прочитанных книг он находил сюжет или героя, который перекликался с его жизненной ситуацией.



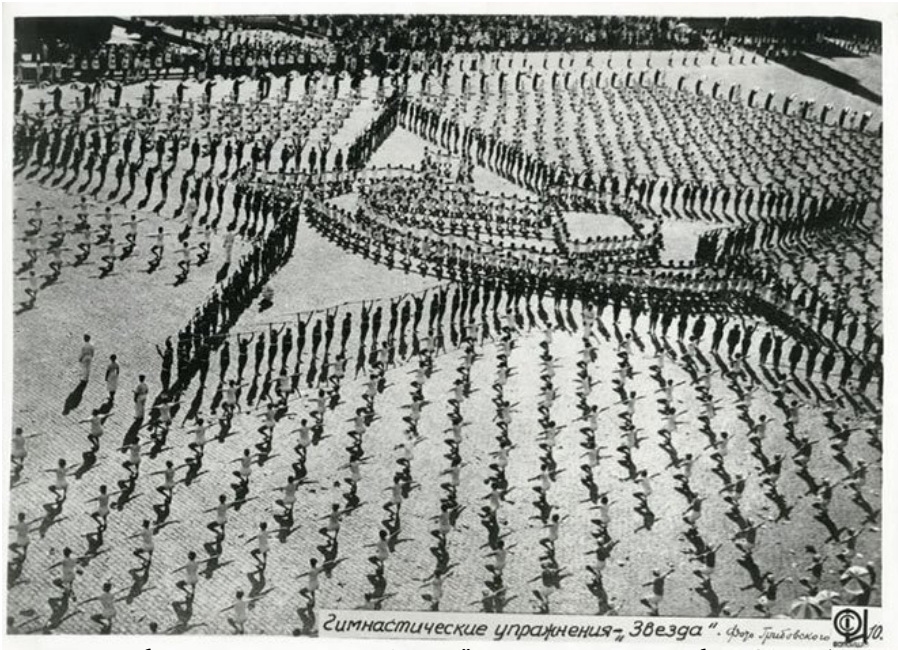
Федор Достоевский. Портрет с фотографии 1880 года
РИА «Новости»

Особенные отношения в первые месяцы опалы сложились у Афиногенова с романами Достоевского «Братья Карамазовы» и «Идиот». Тексты Достоевского, описывающие ситуацию морального выбора, необходимость покаяния и очищения и дробность человеческой психики, давали Афиногенову настолько точный язык для описания собственной ситуации, что в некоторых дневниковых записях он почти сливался с героями Достоевского. «Дмитрий Карамазов уже после суда спрашивал себя: готов ли? То есть к другой жизни готов ли? И сам себе

отвечал — не готов. Прошел первый пыл вдохновенного гимна в рудниках, осталось желание быть с Грушенькой, бежать в Америку, отпустить бороду и жить на свободе. Так и я спрашивая себя все время сейчас — готов ли я к новой моей жизни? Или все еще давит на меня обида за несправедливую проработку и удаление от любимого дела?»

Наконец, еще одним важным авторитетным собеседником, к которому Афиногенов мысленно обращался, был Сталин. Почти у всех сколь-либо известных советских интеллектуалов была своя история взаимоотношений со Сталиным: Сталин или встречался с ними лично, или звонил по телефону, или отзывался об их творчестве, и потом эти комментарии определяли дальнейшую судьбу автора. На страницах дневника Афиногенов воображал Сталина, читающего протоколы допросов. «А что в это время делается там? Сталину принесли очередную сводку — доклад. Он читает в ней о поведении Ягоды на допросах, о его ответах, о том, что он отрицает все (или сразу во всем сознается). За окном кабинета — по серому асфальту кремлевских тротуаров идут редкие прохожие. Задумчивый взгляд Сталина. <…> Он прочитывает сводку, делает пометки синим карандашом, размашисто, глядит в окно, думает и нажимает кнопку. Входит маленький объемистый секретарь. Новые дела кладет он тихо перед Ним. Сталин придвигает к себе папку и начинает работать, как всегда методично, упорно, много».

В дневнике Афиногенова, как в романах Достоевского, одновременно звучат разные голоса — соглашающиеся друг с другом, дополняющие или исключающие друг друга, но в любом случае принципиально несводимые к одному голосу. Пытаясь узнать, в чем именно его вина и какое наказание ему грозит, Афиногенов допрашивал себя и смешивал свой голос с голосом официальных газет, литературной классики, следователя НКВД, воображаемого сообщества идеальных советских людей и Сталина. Такая полифония на страницах дневника не была индивидуальным открытием Афиногенова. В январе 1938 года поэтесса Ольга Берггольц, исключенная из Союза писателей за связь с Леопольдом Авербахом, тоже ждала ареста. 22 января 1938 года она сделала в дневнике запись, в которой можно обнаружить цитаты из ее собственного дневника прошлых месяцев, повести Достоевского «Кроткая», речи Сталина и выступлений писателей на парткоме, отсылку к Евангелию и намек на новый разговор со следователем[14].



Парад физкультурников на Красной площади. Фотография А. Грибовского. 1935 год

Мультимедиа-арт-музей / История России в фотографиях

На следующий день после самодопроса Афиногенов поехал в Москву смотреть «Сталинское племя» — документальный фильм о параде физкультурников на Красной площади 12 июля 1937 года. Молодые загорелые люди сливались в одно коллективное тело и с удивительной синхронностью демонстрировали физкультурные элементы, выстраивались в буквы имени «Сталин» и проносили платформы с вращающимися гимнастами. Вернувшись домой, он записал в дневнике: «Вчера долго и хорошо работал над „первым допросом". Это по сути — первое приближение к теме моего творчества теперь, теме в смысле его жизненного содержания — предельная искренность с самим собой, без всякой утайки и недоговоренности — и потом — писать только о пропущенном через свой опыт и отношение. Поэтому, несмотря на то, что „допрос" написан смаху, без поправок и дальнейшей над ним работы, — он все-таки вышел цельным, я говорю сейчас о языке, его можно редактировать, но то, как он вылился, — приближает меня к пониманию того, чем должен заниматься художник слова». Не дожидаясь настоящего ареста, Афиногенов пришел к тем же выводам, что и писатели, действительно оказавшиеся на Лубянке. В мае 1939 года Исаак Бабель писал: «[Т]олько в последнее время наступило для меня облегчение — я понял, что моя тема, нужная

для многих, это тема саморазоблачения».

Исаак Бабель. Фотография из следственного дела. 1939 год
Wikimedia Commons

И все же даже в рамках одной дневниковой записи Афиногенову не удается избежать внутреннего противоречия. Как пример предельной искренности в литературе он приводит Достоевского, писателя для сталинской культуры почти запретного: «Достоевский, описывая припадок Мышкина, писал о себе и своих чувствах — и это не только право художника, это его обязанность. Когда я писал о радости моего открытия — „творческое прозрение“ — я имел в виду также и это — эту легкость походки и громадную внутреннюю свободу ото всего, что стесняет или мешает». Афиногенов уравнивает прозрение самодопроса с внутренним светом, который озарил душу князя Мышкина в тот момент, когда убийца занес над ним нож и он упал без чувств.

***

22 ноября Афиногенов записал в дневнике сон, приснившийся ему после долгой работы над дневником. Во сне он всю ночь разговаривал с Леонидом Заковским — комиссаром

госбезопасности первого ранга, автором публиковавшихся в центральных советских газетах статей о том, как распознать замаскировавшихся шпионов и диверсантов. Во сне Афиногенов находился в положении униженного просителя или блудного сына — он сидел у постели Заковского, говорил и не мог остановиться «(от долгого молчания, наверное)». Заковский посмеивался и шутил: «Поэтическое у вас, интеллигентов, воображение. Ну чего вы себя все лето запугивали! Вот я вам расскажу…»

Сон обрывался на самом интересном месте, и Афиногенов снова оставался без авторитетного объяснения смысла Большого террора. Впрочем, наверное, и во сне Афиногенов не мог представить, что в это самое время Заковский дал своим подчиненным установку «бить морду при первом допросе» и сам личным примером показывал, как это делается[15].

Источники

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.

Бойм С. Как сделана «советская субъективность»? Ab Imperio. № 3. 2002.

Достоевский Ф. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 6. Л., 1989.

Чудакова М. Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени, 1920-е — конец 1930-х годов. Чудакова М. Избранные работы. Т. 1. М., 2001.

Шенталинский В. Рабы свободы. Документальные повести. М., 2009.

Vatulescu C. Police Aesthetics: Literature, Film, and the Secret Police in Soviet Times. Stanford University Press, 2010.

Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997.

«…Рано или поздно Сталина все равно убьют»: оппозиционеры под ударом Кремля и Лубянки. 1926–1936 гг.[16] Альманах «Россия. XX век»

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Фонд О. Ф. Берггольц в РГАЛИ. Ф. 2888.

Глава 5. Быть Сталиным

Через несколько дней после воображаемого разговора со следователем Афиногенов предпринял еще одну радикальную попытку по-новому объяснить все то, что с ним случилось в последние месяцы. На этот раз он решил попробовать себя в амплуа теоретика.

Его теория называлась «Закон третьего пути» и содержала несколько ключевых тезисов:

— социализм в СССР победил бесповоротно, а значит, каждый должен воспитать в себе нового коммунистического человека;

— существовавшие до этого программы совершенствования человека предусматривали безразличие к жизни или надежду на вечную жизнь после смерти, и только социализм провозглашает активное приятие жизни. Такое отношение называется «третьим путем».

— идеальным воплощением нового человека, идущего по «третьему пути», является Сталин.

Ко второй половине 1930-х годов советская идеологическая машина уже преодолела первоначальную неловкость, связанную с прославлением одного человека в обществе, где любая личность должна была быть подчинена коллективу. Теперь можно и нужно было не только превозносить идеи Сталина, но и его самого представлять загадочным и недостижимым идеалом. Задача современных науки и искусства сводилась к тому, чтобы разгадать природу сталинской гениальности. «Но как бы точно, час за часом, ни была воспроизведена его жизнь, какому глубокому изучению ни подвергалась бы окружавшая его историко-социальная обстановка, навсегда останется заманчивым разгадать внутреннюю силу, обеспечившую ему руководство в таком грандиозном объеме явлений, который с трудом поддается даже формальному учету», — писал в «Известиях» физиолог Алексей Сперанский.

Утро нашей Родины. Картина Федора Шурпина. 1946–1948 годы
РИА «Новости»

При построении своей теории Афиногенов использовал хорошо знакомую всем образованным коммунистам логику диалектического материализма: сначала должен идти тезис, затем оспаривающий его антитезис и только потом снимающий противоречие синтез. Таким синтезом, объясняющим величие Сталина, у Афиногенова становится понятие покоя. Необыкновенный покой отличал вождя от всех остальных людей: спокойствие Керенского перед падением Временного правительства было связано с элементарной недальновидностью, покой Христа перед казнью — с верой в вечную жизнь, и лишь покой Сталина — с точным знанием, что его дело восторжествует на земле.

Афиногеновская программа должна была не просто объяснить величие Сталина, но и помочь советскому человеку обрести покой, равный сталинскому: «Для нас — обычных рядовых людей — тоже открыта полная возможность идти по третьему пути — в своей маленькой жизни… <…> Не твори исторических дел — работай шофером, паси коров или дои их, все равно ты можешь стать равным Сталину по своим человеческим качествам».

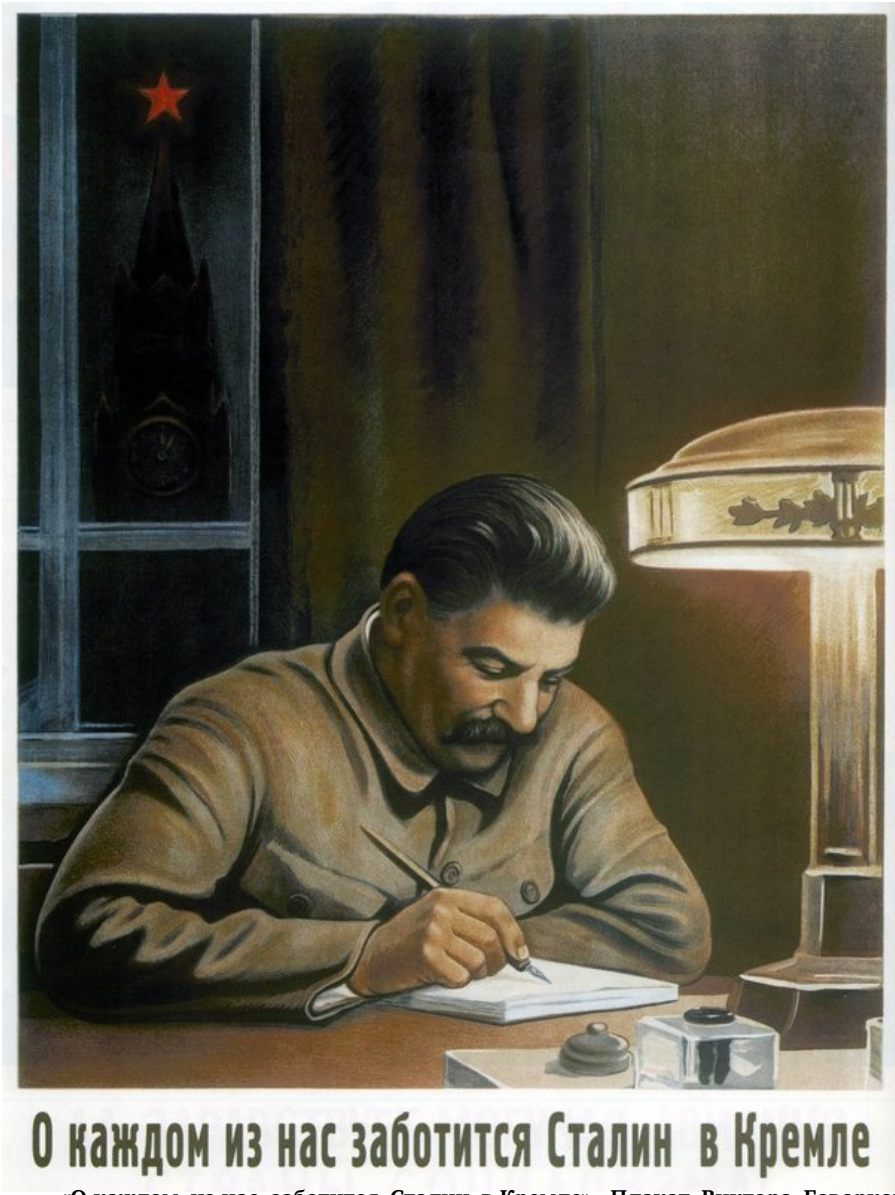
Афиногенов до этого уже писал о желании переквалифицироваться в шофера, однако сейчас для него гораздо важнее было прочертить линию, которая дала бы ему возможность идти по «третьему пути», не оставляя своей

основной профессии — писательства. Принципиальное значение для него приобрел один эпизод из биографии молодого Сталина. Впервые его описал в своих мемуарах эсер Семен Верещак, сидевший с будущим вождем в одной тюрьме: «Когда в 1909 году, на первый день Пасхи, первая рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая, весь политический корпус, Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках». Вскоре в пересказе других пропагандистов книга, с которой Сталин подвергся пытке, превратилась в «Капитал» Маркса.

В этом сколь неправдоподобном, столь и символичном эпизоде Сталин предстал мучеником новой веры, основанной на книжном, рациональном знании. Подобно Сталину, писатель, оказавшийся внутри Большого террора, должен был пройти через череду мучительных унижений, чтобы доказать свою приверженность коммунистическим ценностям.

***

Через несколько дней Афиногенов нашел еще один образ, объединяющий террор, писательство и власть: «Цель [всего происходящего], сейчас, генеральная чистка нашего Советского дома от всякой нечисти. <…> Можно например, разбить ни в чем не повинную чашку. <…> Если б ты был чашкой — тебе оставалось бы только печалиться, что вот зря разбили… Но ты ведь — человек. <…> От этого разве ты станешь просить приостановить выметание мусора? Конечно, нет. А раз так — не только терпи, но и радуйся тому, что ты живешь в такое интересное время, что ты тоже еще вдохнешь свежего воздуха, когда рачительный хозяин, выметя мусор, — найдет за окном выброшенную чернильницу, прикажет ее вымыть и внести обратно на стол. Это ты — чернильница! И ты еще долго, долго будешь стоять на хозяйском столе, и кто знает — может, именно из тебя он напишет новые замечательные мысли…»



«О каждом из нас заботится Сталин в Кремле». Плакат Виктора Говоркова. 1940 год

Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0

Перебирая значения привычных слов (чистка, не только террор, но и уборка), Афиногенов точно описал задачу, которую советский проект ставил перед своими писателями: превратить себя в предмет, полностью подчиненный властной воле, не утратив при этом ощущения высокого предназначения.

Афиногенов ждал спасения и даже назначил для себя день,

когда оно должно было произойти, — 7 ноября 1937 года, двадцатая годовщина большевистской революции. За 55 дней до годовщины он задумался о том, как самым достойным образом ее встретить, и решил, что лучше всего будет преподнести стране нового себя. Подтверждением случившегося перерождения должен был стать роман, подводящий итоги советского двадцатилетия.

Все следующие недели Афиногенов был сосредоточен на замысле нового романа. Чем дольше он думал, тем конкретнее становился образ произведения, дающего пропуск обратно в мир советских граждан. Не воспользовавшись в свое время возможностью попросить о верховном заступничестве, Афиногенов рассчитывал на то, что Сталин станет первым и главным читателем его романа: «Мое возвращение — придет не от разоблачения врагов народа[17], а от собственной работы, от ценности той вещи, которую я положу на стол вождя народов!» — записал он в дневнике 18 сентября.

В этот момент своим важнейшим союзником Афиногенов видит Бориса Пастернака. Фрондирующий поэт, демонстративно отказавшийся подписать письмо с требованием расстрела советских военачальников и при этом избежавший ареста, превратился в глазах Афиногенова в образец настоящего советского художника — носителя сталинского покоя. «Куда его не пошли — он все равно остановит свой взгляд на природе и людях — как большой и редкий художник слова. <…> Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей. <…> Он всегда занят работой, книгами, собой… И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже [может быть] больше, чем здесь», — с восторгом пишет о Пастернаке Афиногенов в своем дневнике.

Уникальность поведения Пастернака особенно бросалась в глаза на фоне отношений Афиногенова с другими писателями. В самом начале сентября прошло собрание Союза писателей, на котором было принято решение об исключении Афиногенова. Среди поддержавших эту идею был его друг и дачный сосед, писатель Всеволод Иванов. «Моя первая мысль, когда я узнал это, — было пойти тут же в Москве в комендатуру НКВД и заявить, чтобы меня арестовали, чтобы меня увезли куда-нибудь очень далеко от этих людей, от этой удушающей подлости человеческой», — написал Афиногенов.

Пастернак в этот момент почти перестал бывать в городе, поселился в Переделкине и сосредоточенно работал над своим первым романом, который собирался посвятить русской революции (позже из этого замысла вырастет «Доктор Живаго»).

Во время частых встреч с Афиногеновым Пастернак ободрял его и уговаривал поскорее взяться за прозу. По словам Пастернака, письмо само по себе имело спасительный и очистительный характер: «Вы напишите настоящую большую вещь, и тогда все злое, что было вокруг вас, — осыпется, отпадет».

Борис Пастернак. Декабрь 1940 года
ТАСС

Афиногенов начал записывать в дневник небольшие тексты с пометкой «для романа». Первая длинная запись была посвящена Борису Пастернаку и Владимиру Киршону, двум человеческим типам, принципиально важным для афиногеновского замысла. Арестованный к этому моменту Киршон представал образцом фальши и карьеризма, а противопоставляющийся ему Пастернак — настоящим художником и человеком: «Как горько… что такое количество лет — я провел рядом с Киршоном… — я воспринимал его идеи и привычки как проявление… коммунистических… Если б эти годы я провел вблизи Пастернака — то новое, что сейчас во мне рождается, — приняло бы уже свои формы и я бы имел несколько лет впереди».

В течение осени 1937 года в дневнике появились несколько записей, дававших в сжатом виде основную линию будущего романа — тему духовного перерождения. Вот главный герой

добивается раннего литературного успеха, но начинает отставать духовно, попадает в опалу и подвергается проработке. Вот через пять лет он издает под псевдонимом новый роман, вызывающий восторг у критики, затем раскрывает псевдоним и возвращается к жизни. Вот после опалы он приезжает в Москву и встречается с людьми, которые успели его забыть, а теперь поражаются случившийся с ним перемене. Вот нота за нотой осваивает игру на рояле — и перед ним открывается простота и богатство музыки.

Центральным для будущего романа сюжетом становится встреча героя со Сталиным. В записи от 26 сентября Афиногенов подробно разбирает свежую пьесу Сергея Вашенцева на военную тематику «В наши дни». «Когда парашютистка бредит, что ей Сталин держит руку, или командир сообщает, что он только что по телефону со Сталиным говорил, — все переворачивается внутри от гнева на пошлость халтурщика, не брезгующего ничем и проституирующего имя Вождя в своих подленьких целях… < … > Этот момент или сообщение об этом — должно было бы быть центральной частью пьесы, ее основным ударом, к которому зрителя надо было бы подводить, подготовляя, как к самому большому подарку…» — с возмущением пишет он.

В качестве наброска к роману Афиногенов попробовал описать свою встречу со Сталиным в 1933 году: они встретились на час, чтобы обсудить работу над пьесой «Ложь». Афиногенов в подробностях перечислил все детали, связанные со встречей: телефонный звонок сталинского секретаря, кремлевские часовые, карандаши на столе. А вот сам разговор фиксации не поддавался: ни одной реплики вождя Афиногенов так и не смог записать. «Ему хотелось рассказывать без конца, он не знал, можно это или нет, могут счесть за хвастовство, он молчал поэтому и носил в себе радость от знаменательной встречи. Он даже пытался описать ее, для себя, для потомства, но получилось слишком обыкновенно, он разорвал написанное, решив сохранить все это в памяти», — писал он. Общение со Сталиным представало в описании Афиногенова величайшим и потому невыразимым духовным опытом.

Однако для самого Афиногенова сталинский покой оставался недостижимым идеалом. Разговоры о необходимости покинуть дачу, встречи с коллегами-писателями, слухи о новых арестах и ожидание собственного ареста погружали его в состояние тревоги. Долгожданный покой оборачивался усталостью от жизни и готовностью к смерти: «Мне совсем уже не страшно умирать — внутри уже слишком многое оборвалось, то, что раньше канатами привязывало к жизни, — на поверку оказалось тонкой бечевкой,

и порвать ее не трудно — сам я этого делать не стану, конечно, но если здоровье пошатнется или просто умру в больнице — возражать не буду… Нет, по крайней мере вот теперь — до конца осознанная мысль об уходе, о смерти и пустоте — не пугает».

Сама по себе задача обретения покоя в рамках советского регламента была нереализуемой ни с практической, ни с теоретической точки зрения. Вся марксистская метафизика была построена на движении и преодолении: настоящий советский человек как выразитель поднимающегося класса должен был все время быть в борьбе. Покой для него означал смерть. «Я — умер, умер, умер… и теперь кто-то третий… всматривается в осеннюю листву соседнего леса», — записал Афиногенов в дневник. Таким образом, задача, которую решал Афиногенов, трансформировалась: чтобы воскреснуть и обрести бессмертие, следовало пройти через собственную смерть. «Меня втоптали в землю, но если я — зерно, то зерно в земле даст свои плоды, оно подымется вверх колосом», — записал он в начале ноября.

Утром 7 ноября Афиногенов включил радио и несколько часов слушал звуки демонстрации на Красной площади и торжественного концерта в Большом театре. После этого он поехал в город и весь день гулял, растворившись в праздничной толпе. В Москве ему в руки попала газета, в которой пересказывался тост, поднятый Сталиным на встрече со стахановцами и руководителями советской промышленности. В нем Афиногенов нашел фразу, дающую ответы на мучившие его вопросы. «Бывают такие слова, которые врезаются сразу, навеки и как бы освещают молнией все пройденное. Так и здесь, в коротком приветствии угольщикам и металлургам, Сталин сказал: „Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен“», — записал он в дневнике.

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве. 7 ноября 1937 года
ТАСС

Вернувшись в Переделкино, Афиногенов провел весь вечер с Пастернаком. Они поднимали тосты за дружбу и за свое время. «Мы сейчас не только живем в историческое время, но сами объекты исторических дел — и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вообще не знаешь, за что берут людей», — говорил Афиногенов и доказывал, что те, кто убеждены в справедливости строя, не должны бояться собственного ареста и сомневаться в объективности НКВД. Пастернак спорил и говорил, что было бы лучше, если бы власть объясняла, как нужно жить, чтобы избежать ошибок.

Сталинские слова в очередной раз дали Афиногенову веру в оправданность происходящего в стране террора. Казавшаяся ему неизбежной смерть оказалась лишь способом обрести бессмертие: «Сталин освободил от страха смерти — радостью жизни в самой жизни… Вот оно — лекарство и средство от всяких страхов смерти — сознание… что ты цвел и жил, и чем полнее — тем безболезненней будет отход в небытие. <…> Стоит бороться и даже УМИРАТЬ за такую жизнь… <…> Умирать за жизнь других — без сожаления, что собственное твое тело сгниет в могиле…»

25 ноября по радио снова транслировали доклад Сталина о проекте новой союзной конституции, который так вдохновил Афиногенова год назад. Как писала «Правда», его слушали

«в красных уголках, в клубах, колхозах, общежитиях, в погранотрядах на далеких границах, в тайге и горах». Доклад снова произвел на Афиногенова сильнейшее впечатление: как и год назад, он ощутил себя частью одного большого советского целого. На следующий день он решился написать письмо Матвею Шкирятову — одному из руководителей Комиссии партийного контроля, известному своей жестокостью и непреклонностью. Афиногенов просил о реабилитации и восстановлении в рядах партии.

Через несколько дней Афиногенов вернулся с прогулки, вынул все дневники и записные книжки и разложил их на столе. Он начал работу над романом. Но его главным рабочим инструментом стало не перо и не пишущая машинка, а ножницы. Он «начал резать, сначала робко, потом разошелся, отхватывал целыми страницами… натер мозоль на пальце». Для того чтобы написать образцовый советский роман, Афиногенов в прямом смысле слова перекраивал собственную биографию, вырезая из своего прошлого все, что могло пригодиться для построения себя будущего и уничтожая границу между жизнью и искусством: старый человек должен был умереть и возродиться в виде художественного текста.

* * *

С марта 1937 года вся страна следила за экспедицией исследователей Арктики: группу под руководством Ивана Папанина на самолетах забросили на Северный полюс, где они основали дрейфующую научно-исследовательскую станцию. Дрейф продолжался девять месяцев, направлявшаяся к Гренландии льдина стала уменьшаться, и в результате группу пришлось спасать ледоколами и самолетами.

17 марта 1938 года в Кремле принимали спасенных и спасителей. Сталин произнес торжественный тост — о том, что только в Советском Союзе государство так ценит человека, что готово бросить на спасение своих героев все возможные ресурсы. Его перебил летчик Валерий Чкалов.

> Чкалов: Никто из присутствующих здесь не захочет пережить Сталина *(возгласы одобрения)*. Никто от нас Сталина не отнимет, никому не позволим Сталина от нас отнять. Мы можем сказать смело: надо легкие отдать, — отдадим легкие Сталину, сердце отдать — отдадим сердце Сталину, ногу отдать — ногу отдадим Сталину.
>
> Сталин: Сколько вам лет?

Чкалов: Мое сердце здоровее вашего, и я отдам его Сталину.

Сталин: Сколько вам все-таки лет?

Чкалов: Тридцать три.

Сталин: Дорогие товарищи большевики, партийные и беспартийные, причем иногда бывает, что непартийные большевики куда лучше партийных! Мне 58 лет, пошел 59-й. Товарищу Чкалову — *(поддразнивает)* тлидцать тли *(шумный смех)*. Так вот, я вам советую, дорогие товарищи, не ставить себе задачу умереть за кого-либо. Это — пустая задача. Особенно за стариков, вроде меня. Самое лучшее — жить и бороться, бороться вовсю во всех областях нашей хозяйственной и политической жизни, в области промышленности, в области сельского хозяйства, в области культуры, в области военной. Не умирать, а жить и разить врагов *(бурная овация)*.

Жизнь и смерть в Советском Союзе оказывались почти неразличимыми: человек мог рассчитывать на то, чтобы жить настоящей жизнью, только при условии, что он готов без раздумий ею пожертвовать.

Источники

Верещак С. Сталин в тюрьме. Дни. 24 января 1928.

Сперанский А. Наш Сталин. Известия. 7 ноября 1937 года.

Краткий курс истории ВКП(б). М., 1938.

Hellbeck J. With Hegel to Salvation: Bukharin's Other Trial. Representations. Vol. 107, No. 1 (Summer 2009).

Глава 6. Партбилет

20 декабря 1937 года передовицы главных советских газет были посвящены важному юбилею в жизни страны — двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД. «Правда» опубликовала указ о награждении почти 400 чекистов разными орденами за самоотверженное выполнение правительственных задач. Особой похвалы удостоился глава ведомства Николай Ежов. Орден он не получил, но всюду превозносился как достойный продолжатель дела Феликса Дзержинского. За несколько месяцев 1937 года сформировался культ личности Ежова: журналы печатали песни казахского народного поэта Джамбула Джабаева («Я славлю батыра Ежова, который, / Разрыв, уничтожил змеиные норы»), именем наркома были названы заводы, стадионы, города.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)

ПРАВДА

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

№ 349 (7315) | 21 декабря 1937 г., вторник | ЦЕНА 10 КОП.

Вчера трудящиеся нашей страны торжественно отмечали славное двадцатилетие ВЧК—ОГПУ—НКВД, горячо приветствовали работников и бойцов НКВД во главе с их бесстрашным руководителем, верным сталинцем Николаем Ивановичем Ежовым.

Советская разведка, взращенная партией Ленина—Сталина, окружена глубокой любовью народов СССР. Да здравствует НКВД—неусыпный страж революции, карающая рука советского народа!

Товарищи Каганович, Андреев, Димитров, Ворошилов, Жданов, Ежов, Братановский, Молотов и Хрущев на собрании, посвященном двадцатилетию ВЧК—ОГПУ—НКВД, в Большом театре 20 декабря 1937 года. На трибуне—тов. Микоян.

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА СИЛЬНА ПОДДЕРЖКОЙ НАРОДА

СОБРАНИЕ АКТИВА ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ ВЧК—ОГПУ—НКВД

* * *

Вчера в Большом театре

ДОКЛАД тов. А. И. МИКОЯНА

РЕЧЬ тов. МАКСИМОВА

Первая полоса газеты «Правда». 21 декабря 1937 года
«Правда» № 349 (7315)

Вечером того же дня советские рабочие, инженеры, ученые и военные пришли в Большой театр на праздник. Центральным событием вечера было выступление наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна[18]. По его мысли, каждый советский человек должен был ощущать себя наркомвнудельцем,

а сама секретная полиция представала идеальным советским институтом, уменьшенной и улучшенной моделью советского общества. Микоян привел несколько примеров неусыпной бдительности советских людей:

> — Сторож Горностаевского зернопункта Дубин обнаружил в стоге сена неизвестного, назвавшегося безработным. После ареста этот «безработный» оказался неким Левицким. На протяжении определенного времени он вел шпионскую работу в СССР.
>
> — Гражданка Дашкова-Орловская помогла разоблачить шпионскую работу своего бывшего мужа Дашкова-Орловского.
>
> — Пионер Щеглов Коля (1923 года рождения) в августе этого года сообщил начальнику районного отделения НКВД о том, что его отец Щеглов И. Н. занимается расхищением из совхоза строительных материалов. Щеглова-отца арестовали… Пионер Коля Щеглов знает, что такое советская власть для него, для всего народа.

С выводами Микояна было сложно спорить: к концу 1937 года террор и полицейская подозрительность действительно распространились по всему советскому обществу, разрушая всякие человеческие связи.

Вечер в Большом театре можно было бы считать полноценным триумфом НКВД и Николая Ежова, если бы не одно важное обстоятельство: Сталин не пришел поздравить чекистов. В советской символической вселенной это придало торжеству оттенок второсортности. Отсутствие вождя могло означать, что он недоволен НКВД.

Сталин неоднократно прибегал к одному и тому же приему: сначала собственными приказами наводил террор и сеял административную панику, а затем перекладывал вину за эксцессы на исполнителей. К концу 1937 года массовость и непредсказуемость террора, затронувшего руководящих работников во всех сферах производства и общественной жизни, грозили хаосом в управлении страной. Чтобы немного успокоить элиту, Сталин решил несколько умерить чистку в рядах коммунистической партии и показательно восстановить часть исключенных, еще не расстрелянных партийцев. Впрочем, на остальные группы населения эта передышка в терроре не распространялась.

***

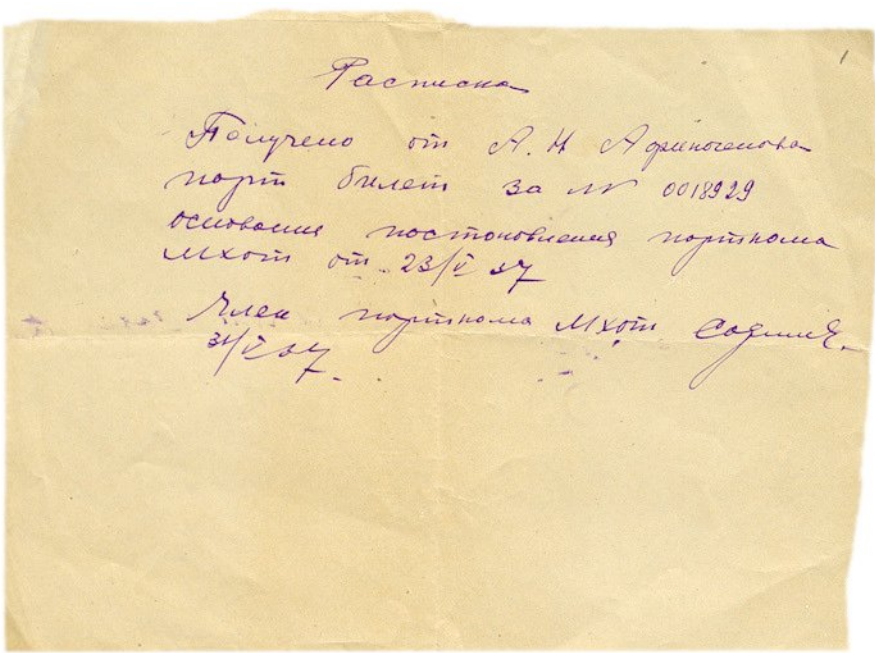
Александр Афиногенов слушал трансляцию из Большого театра по радио. Чем реальнее становилась перспектива его реабилитации, тем активнее он старался участвовать в повседневных ритуалах, доступных лояльным советским гражданам. Он обстоятельно пересказывал в дневнике газетные передовицы и доклады партийных руководителей, посетил собрание в Переделкине, посвященное выборам в Верховный Совет, и сам сходил проголосовать. Чтобы начать процедуру восстановления в партии, он подал заявление в райком. Его тепло встретили и обещали рассмотреть дело в ближайшее время.

Выборы в Верховный Совет СССР. 1937 год
© ТАСС

Новый, 1938 год Афиногенов встречал на даче в Переделкине с чувством, что все самые страшные испытания уже позади: «Спасибо тебе! Жестокому испытанию ты подверг меня, сколько раз я молил — „довольно, пощади“! Нет, еще и еще ты ударял меня и растягивал самые удары, как бы испытывая крепость моего сердца. И сердце выдержало, оно выковалось под этими ударами, оно научилось так ценить и любить жизнь, как никогда до этого времени!» — записал он в дневнике 30 декабря. По мысли

Афиногенова, месяцы, проведенные в ожидании ареста, оказали на него то же воздействие, какое в официальной риторике середины 1930-х годов принудительный труд оказывал на заключенных: они очистили и перековали его душу.

Решающим днем стало 18 января, когда по радио зачитали постановление Пленума ЦК «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». Ничего не говоря о давлении со стороны НКВД, постановление называло местные парторганизации виновными в «преступно-легкомысленном» отношении к исключению людей из партии. Давая надежду несправедливо исключенным, оно одновременно открывало возможности для очередной волны партийной чистки и настаивало на необходимости разоблачить засевших в партии карьеристов и врагов. От волнения Афиногенов не мог заснуть. В тексте постановления он узнал знакомый ему сталинский стиль. Он вышел на мороз без шапки, гулял и думал о гениальности вождя.


Расписка

Получено от А. Н. Афиногенова партбилет за № 0018929 основание постановления партколлегии МКПК от 23/V 37

Член партколлегии МКПК Сорин

24/V 37 г.

Расписка, полученная Афиногеновым при сдаче партбилета. 1937 год
Российский государственный архив литературы и искусства

Все необходимые для восстановления документы Афиногенов собирал в отдельную папку, которая увеличивалась, по мере

того как террор набирал силу. Критиков и функционеров, исключивших Афиногенова весной 1937 года, теперь самих прорабатывали. Не скрывая своего злорадства, он собирал газетные вырезки с соответствующими новостями. У него теперь было много дел: помимо поездок в райком, он собирался встретиться со своими старыми коллегами-литераторами, чтобы включиться в работу Союза писателей. Всеволод Вишневский, громивший его на собрании драматургов, принял его в орденах, «вежливо, но холодно» и обещал перепроверить материалы дела об исключении его из Союза.

Дача Афиногенова снова заработала как художественный салон: 29 января у него собрались Вера Инбер, Константин Федин и Всеволод Иванов с женой, чтобы послушать Пятую симфонию Шостаковича. Московская премьера симфонии должна была стать для собравшихся знаковым событием. В 1936 году музыку Шостаковича объявили на страницах «Правды» сумбурной и антинародной, и с тех пор композитор был в опале. Новая симфония должна была показать, что он сумел упростить свою музыку и перестроиться под требования социалистического реализма. За несколько дней до премьеры Шостакович опубликовал в «Вечерней Москве» статью, где назвал свою работу «деловым творческим ответом советского художника на справедливую критику». Газеты встретили симфонию восторженно, а Афиногенов назвал ее в дневнике «сверкающим озарением»: «В ней действительно ощущаешь новое качество видения мира, его слушания — конечно же, наши демонстрации, наша Красная площадь, наша бурная радость… — все это отразилось в организации звуков».

3 февраля Афиногенова восстановили в партии. «Теперь даже странно читать резолюцию об исключении Афиногенова», — сказала секретарь Свердловского райкома Аникеева. После заседания Афиногенов встретился с женой. Сквозь пургу они поехали на машине в Переделкино. От счастья они не могли говорить. В тот же день Афиногенов в очередной раз попробовал подвести итоги своей опалы: «Я теперь не только для других, но и сам для себя — проверен и испытан на самый жаркий огонь! Теперь меня не расплавить… Теперь я — не только сталинский художник, но и сталинской закалки большевик!»

Через неделю, когда жена Афиногенова зашла в комнату, она застала его за странным занятием. Он сидел в кресле у стола и не отрываясь смотрел в маленькую красную книжечку. Это был его партбилет под номером 0018929. Афиногенов раскрывал, закрывал его, вглядывался в собственную фотографию и подписи. Он вел себя, как герой соцреалистических романов и фильмов,

для которого партбилет выступал самым сокровенным предметом, соединяющим отдельного человека со всей страной, занятой построением социализма. Именно партбилет, а не дневник или роман, становился итоговым документом внутренней трансформации Афиногенова, обретая художественную выразительность и силу предсказания:

> «Сейчас все еще для меня впереди, но держа в руках красную книжечку, я все еще не могу осознать происшедшего перелома и думаю, думаю, всматриваясь в листки уплаты взносов, где есть даже 1943 год. Страшно подумать. Сорок третий год. За год до этого — конец третьей пятилетки, над Москвой будет выситься Дворец Советов, Волга окончательно сольется с Москвой-рекой, мы догоним во всех отношениях самые передовые страны, даже Америку… исчезнет навсегда проблема жизненных неудобств и мелочей, очереди и нехватки, почти исчезнет жилищный кризис… и все это за шесть лет. Если… если не расклеют однажды утром приказ о всеобщей мобилизации и не двинемся мы все, всей страной, лавиной, ураганом — на Запад и Восток, сметать границы, дробить врага в пыль таким порывом мощности, какого никогда не ведал мир!»

Проект Дворца Советов. Архитектор Борис Иофан. 1933 год
© DIOMEDIA

Ни один из этих прогнозов до конца не сбылся: строительство Дворца Советов остановилось на уровне фундамента, план обводнения Москвы остался незавершенным, очереди и дефицит исчезли уже после распада Советского Союза, молниеносной войны на чужой территории тоже не случилось.

По мере того как Афиногенов возвращался к нормальной жизни, замысел его романа стремительно трансформировался. Во-первых, произошло важное формальное изменение: если раньше Афиногенов оставлял разрозненные наброски внутри дневника, и они часто сливались с описанием его мыслей и переживаний, то теперь он начал отдельную рукопись. Во-вторых, в самом замысле романа появилась дистанция, отделяющая героя от автобиографического Афиногенова. Его звали Виктор Второв (имя, судя по всему, должно было символизировать победу над собой и второе рождение), и он был актером. Драму самосовершенствования Афиногенов перенес в театр: Второву предстояло овладеть актерским мастерством

по системе известного режиссера. Читатели должны были без труда узнать в театре МХАТ, а в режиссере — смесь Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского. Репетиции по системе Станиславского создавали настоящего советского человека и перестраивали душу героя. «Не ищите в себе новых чувств, лучше проверьте, не слишком ли еще живучи старые, а если они уж очень живучи, то есть те из них, которые плохи, то как сделать, чтобы их в себе отстранить назад, а выдвигать и растить в себе лучшие стороны своего существа», — объяснял свою систему режиссер.

Работа над романом, не успев начаться, застопорилась. Сама мысль о том, что нужно потратить много сил и времени на незнакомый ему жанр, больше не казалась Афиногенову бесспорной. В эти дни он писал своему другу режиссеру Николаю Акимову, что ему нужно выступить с новой вещью и доказать, что месяцы опалы прошли не зря. В качестве одного из возможных вариантов Афиногенов теперь рассматривал комедию: «Теперь уж, если браться за комедию, — надо написать нечто „гомерическое“ — уж такое навернуть, чтобы у публики два дня животы болели от смеха, завинтить интригу, ошарашить неожиданностями, словом — к самой теме прибавить еще и интересные формальные достоинства. <…> Ведь так хочется посмеяться!»

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б) ОТ 3/II 1938 г.

О деле тов. Афиногенова, исключенного парторганизацией МХАТ им. Горького.

«Парторганизация 22 июня 1937 г. исключила Афиногенова из партии за полный отрыв от партийной организации, за участие в троцкистско-авербаховской группе.

Бюро РК постановляет: В связи с тем, что ряд фактов, пред'явленных т. Афиногенову, не подтвердился, решение парторганизации об исключении его из партии отменить, как необоснованное.

Учитывая, что т. Афиногенов свои ошибки признал, указать на то, что он после решения ЦК ВКП(б) о роспуске рапповской организации не занял твердой линии на разрыв с Киршоном и Авербахом.

Секретарь РК ВКП(б) **АНИКЕЕВА».**

Последняя полоса «Литературной газеты». 15 февраля 1938 года
«Литературная газета» № 009 (716)

16 февраля на последней странице свежей «Литературной газеты» Афиногенов увидел объявление о своем восстановлении в партии. В нем подчеркнуто не содержалось никаких оценок произошедшего, а просто давалась цитата из постановления Свердловского районного комитета ВКП(б). Заметку нельзя было сравнить с погромными статьями, разоблачавшими Афиногенова и других авербаховцев в апреле 1937 года, но в тот момент

это была максимальная официальная реабилитация, на которую мог рассчитывать драматург. В тот же день он записал в дневнике свой очередной ночной кошмар: «Киршон[19], обросший, толстый, хрипящий, ревет в бешенстве, что меня он все равно утопит, что он не позволит мне жить, раз его забрали. Я смотрю на него, пытаюсь закричать — нельзя утопить невиновного — и не могу, рука тяжелая, не подымается, чтобы оттолкнуть его, а он хрипит и лезет ко мне с ордером на арест. Я беру ордер, на нем размашистая подпись — Ягода[20]».

В этот момент подготовка к самому масштабному показательному процессу 1930-х годов[21] вступила в заключительную стадию. Процесс должен был разоблачить «центр центров» — насколько зловещую, настолько и вымышленную структуру, которая руководила действиями групп, разоблаченных в 1936 и 1937 годах, и связывала значительные фигуры из самых разных сфер общественной жизни. Одним из ключевых обвиняемых был бывший глава НКВД Генрих Ягода. В начале следствия Ягоду били. Уже получив нужные показания, следователи задумались о том, чтобы на публике он не выглядел слишком замученным. Для поднятия настроения в январе 1938 года к нему в камеру подсадили Владимира Киршона. Из отчета, написанного Киршоном майору госбезопасности Александру Журбенко, следует, что Ягода к этому моменту был совершенно сломлен. Он часто плакал и говорил о своем желании поскорее умереть.

Ягода был организатором двух показательных процессов и поэтому прекрасно понимал, что все равно погибнет. Его интересовало одно — судьба близких, и он всеми силами пытался получить свидание с женой или хоть какую-то информацию. Ради разговора о семье Ягода и попросил, чтобы к нему подсадили Киршона: «Я хотел просто расспросить Вас об Иде, Тимоше, ребенке, родных и посмотреть на знакомое лицо перед смертью». В обмен на выполнение всех требований во время процесса Ягоде удалось-таки добиться своего: ему дали свидание с женой (правда, все равно обманули, сказав, что его давно арестованная жена все еще на свободе). Киршон интереса для следствия не представлял, поэтому на свидания с родственниками рассчитывать не мог.

Показательный процесс начался 2 марта 1938 года. Наряду с Ягодой на скамье подсудимых оказались прославленные большевики Николай Бухарин, Алексей Рыков и Христиан Раковский, врачи Лев Левин и Дмитрий Плетнев. Помимо традиционного набора из вредительства, связи с иностранными разведками и заговора с целью восстановить капитализм,

подсудимых обвинили в убийствах Горького, Кирова, Менжинского и даже покушении на Ленина в 1918 году.

Афиногенов внимательно следил за ходом процесса: чтение газетных отчетов настолько его наэлектризовало, что он не мог думать ни о чем другом. Перегородка между интимным и общественным рухнула, и все планы на автономную жизнь и творчество, которые Афиногенов вынашивал в течение года опалы, потеряли смысл. «С трудом вспоминаю, что было время, когда я, кажется, начал писать какой-то роман и довел его до 40-й страницы. Ибо теперь мысли несутся вихрем совсем в обратном направлении и не до романа сейчас совершенно — жизнь, только жизнь!», — записал он в дневнике 3 марта.

Афиногенов уже не мог писать большой роман о внутренней трансформации советского человека. Теперь он мечтал о другой литературной задаче — написать самую яростную передовицу, посвященную врагам народа: «Надо кричать, надо давать полосы, надо подымать всю страну на гнев и ярость! Ведь еще не было раскрыто такого злодейства. А тут опять обычные слова о предателях и шпионах. Эти слова уже не вмещают всего, что сделано теми, кого завтра будут судить! Надо найти какие-то особые проклятия, которые прожигали бы их тело и наш мозг уже до появления их на скамье подсудимых». Все несчастья, которые Афиногенов пережил за год, оказывались результатом коварной работы фашистов и троцкистов. Писатель должен был отомстить врагу, причинив ему страдания единственным доступным ему оружием — словами.

Источники

Волков С. Шостакович и Сталин: художник и царь. М., 2004.

Жирнов Е. «НКВД и товарищ Ежов являются любимцами советского народа»[22]. Коммерсантъ Власть, № 50, 17.12.2012.

Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008.

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

Arch Getty. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered 1933–1938. Cambridge, 1985.

Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997.

Литературная газета. Вып. от 15 февраля, 1938.

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Глава 7. Молчание

В конце марта 1938 года в американском посольстве в Москве снова устраивали прием. Посол Джозеф Дэвис получил новое назначение и собрал московский высший свет, чтобы попрощаться. На прием был приглашен и Александр Афиногенов. Он танцевал с женой посла, и она светски жаловалась ему: «Вы — исключительная страна, единственная в мире. Что такое какая-нибудь Бельгия после вас!»

Джозеф Дэвис с женой в день отъезда из СССР. Июнь 1938 года
© Universal Images Group / Sovfoto / DIOMEDIA

На приеме Афиногенова окружали новые лица: за прошедший год состав участников вечеров в посольстве кардинально изменился. Из знакомых остался только литовский поэт и дипломат Юргис Балтрушайтис: остальные не пережили 1937-й. Сенсацией вечера был председатель Военной коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих, выносивший приговоры

на всех главных показательных процессах конца 1930-х годов. За две недели до приема в посольстве он приговорил к расстрелу участников вымышленного «правотроцкистского блока», среди которых были Генрих Ягода и Николай Бухарин. Весь вечер Ульриха окружали иностранные журналисты. Кто-то из них пустил остроту: «Странно видеть ходячую гильотину в зале для танцев». Чтобы сгладить возможное неприятное впечатление, посол Дэвис подошел к Ульриху и громко произнес: «Я считаю приговор суда абсолютно справедливым и, если б был судьей, приговорил именно так».

Афиногенов вполне мог поддержать слова Дэвиса: к этому моменту он уже ощущал свою общность с законопослушными советскими гражданами. Со смертью его бывшего покровителя Ягоды неприятности закончились и жизнь должна была войти в привычное русло. Правда, одним из негласных условий возвращения в общественную жизнь был запрет на сколь-либо публичное обсуждение пережитого опыта.

Более того, работа по внутреннему самосовершенствованию, которой Афиногенов уделил столько места на страницах дневника, оказалась никому не нужна. В советских реалиях 1938 года не нашлось ни одной инстанции, готовой выслушать Афиногенова и оценить его страдания. Все внутренние разговоры нужно было прекратить. Как ни в чем не бывало Афиногенов продолжал ходить на собрания Союза писателей и обсуждал планы по развитию искусства соцреализма. Такая задача давалась ему непросто, и это хорошо видно по дневнику 1938 года. С каждым следующим месяцем записей становится всё меньше, да и те разрозненные. «Заброшенные листы записей. Стыдно, как распустился! Мысль — а может быть, и не стоит продолжать», — записал он 30 июня. Еще год Афиногенов вел дневник с огромными перерывами, а в 1940 году — впервые с 1925-го — вообще не сделал ни одной записи. Это молчание и стало его свидетельством о пережитом опыте.

***

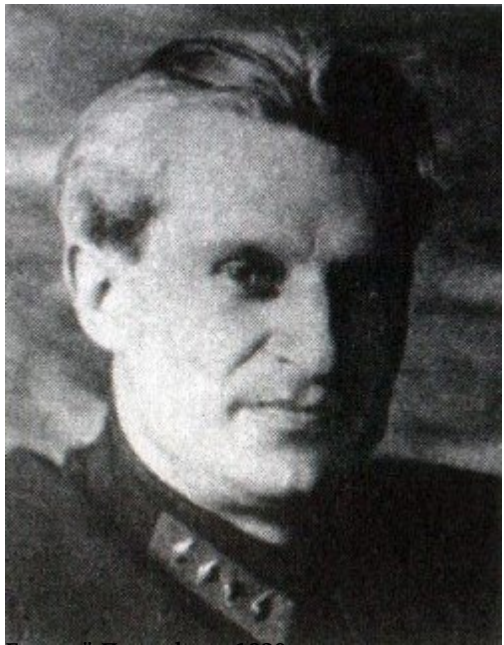
При изучении свидетельств террора, перед исследователем всегда стоит задача не только проанализировать то, что известно и сохранилось, но и попытаться реконструировать непроизнесенное или уничтоженное. В автобиографическом романе «Эпилог» Вениамин Каверин описал, как он зашел в гости к Юрию Тынянову осенью 1937 года. Тынянов подвел его к окну

и показал на стоявшую в воздухе узкого ленинградского двора мелкую пепельную пыль. «Я схожу с ума, — сказал он, — когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники». Дневник Афиногенова за 1937 год сохранился и важен не только тем, что в нем написано, но и тем, о чем автор предпочел умолчать.

Дневники Афиногенова эпохи Большого террора — продукт внимательной саморедактуры: ножницами вырезаны куски множества страниц, у некоторых записей отрезаны начало или конец. Сам Афиногенов писал, что использовал дневники как материал для будущего романа. В его архиве действительно хранится папка с вырезками, но все ли куски в нее попали, неизвестно.

Во многих местах дневник выглядит очевидно отцензурированным или неполным. Внимательно следивший за переделкинской жизнью писателей Афиногенов, к примеру, ни разу не упомянул о том, что Пастернак, с которым они тогда много общались, отказался подписать письмо с требованием расстрела маршала Тухачевского. В дневнике также нет ни слова про арест писателей Бруно Ясенского и Владимира Киршона (в статьях, предшествовавших исключению из Союза писателей, Киршон упоминался через запятую от Афиногенова) — записи в дни арестов отсутствуют. Нет и прямой реакции на арест Бориса Пильняка в конце октября 1937-го. Еще в сентябре Пильняк и Афиногенов обсуждали необходимость менять профессию — а уже в ноябрьской записи Афиногенов размышляет о том, что Пильняк с большой вероятностью мог быть иностранным шпионом.

Еще непонятнее ситуация с записями апреля 1937 года — месяца, когда Афиногенов узнал об аресте Ягоды, а самому ему пришлось пережить три дня общественного собрания. В десятых числах он приехал в Ленинград и остановился в гостиничном номере. Позже в дневнике он написал, что это был «порыв к самоубийству» и он «старался в смерть спрятаться от отчаяния и обиды и от сознания, что некому пожаловаться, что никто не поверит и надо умирать». Дальше дневник прерывается на 13 дней, а у следующих записей перепутаны даты (апрелем помечены майские события). Что именно делал Афиногенов в дни перед собранием, совершенно неясно.



Георгий Прокофьев. 1930-е годы
Wikimedia Commons

Впрочем, некоторые пробелы можно восстановить по другим свидетельствам. Два раза на страницах дневника появляется Соня (в одном месте имя зачеркнуто и написано «Надя»). Из дневника про нее не известно ничего, кроме того, что ее муж был арестован, а сама она тщетно пыталась найти адекватное объяснение случившемуся: «Соня пытается шутить и острить, поет громко и говорит о посторонних вещах, но видно, что это всё от желания подавить в себе идущие к горлу вопросы, не думать о проклятом, забыться, рассеяться», — записал Афиногенов 30 июля 1937 года. Само по себе общение с женой арестованного должно было ставить Афиногенова в еще более опасное положение, но настоящую степень риска можно понять, только установив личность Сони. Эту возможность дают опубликованные в начале 1990-х годов мемуары Софьи Евсеевны Прокофьевой, в которых она рассказывает, что получила восемь лет лагерей как жена репрессированного члена высшего руководства НКВД Георгия Прокофьева. Она пишет, что Афиногенов был чуть ли не единственным, кто не прекратил общения с ней после ареста мужа, прекрасно понимая, чем ему это грозит.

Еще одно неожиданное свидетельство об Афиногенове оставил друживший с ним американский журналист Морис Хиндус (именно к нему Афиногенов пришел в конце 1936 года праздновать принятие сталинской конституции): «Он был одним из немногих среди знакомых мне русских литераторов, кто любил

Библию. Главным образом он читал Библию короля Иакова[23] и постоянно ее перечитывал во время года своего домашнего заключения». Если это действительно так, афиногеновские признания в прозрении и перерождении выглядят совершенно иначе: его вера в торжество миропорядка сталинизма оказывается подсвеченной совершенно немыслимым для коммуниста обращением в христианство.

Пожалуй, самая выразительная брешь в дневнике — почти полное отсутствие семьи Афиногенова. Драма, которую он переживал, не могла быть делом сугубо личным. Вместе с ним в Переделкино была его жена Дженни и их крошечная дочь Джоя, родившаяся в марте 1937 года. Для близких Афиногенова ситуация выглядела едва ли менее угрожающей, чем для него самого. Американская танцовщица, Дженни Марлинг приехала в Советский Союз в начале 1930-х годов вместе с мужем Джоном Бовингдоном, тоже танцором. Супруги симпатизировали идеям коммунизма и местному строю и хотели продемонстрировать здесь свои танцевальные импровизации. Бурный роман с Афиногеновым круто поменял жизнь Дженни: она рассталась с Бовингдоном, вышла замуж за советского писателя, получила новое гражданство и имя — Евгения Бернардовна Афиногенова. В случае ареста мужа Дженни осталась бы одна в чужой стране, без связей и с угрозой получить обвинение в шпионаже.

Александр Афиногенов и Дженни в Италии. 1930-е годы
© Из личного архива

Афиногенов несколько раз упоминает жену в дневнике, но из этих записей совершенно неясно, как Дженни переживала и интерпретировала случившуюся катастрофу. О ее роли мы знаем из воспоминаний Вячеслава Иванова — лингвиста и сына писателя Всеволода Иванова, жившего в Переделкино по соседству с Афиногеновыми: «Когда стали запрещать его пьесы и начались аресты людей из РАППа, Афиногеновы почувствовали приближающуюся опасность. И тогда Дженни написала письмо Сталину следующего содержания: „Вам пишет американская коммунистка, любящая вашу страну. И поэтому все, что она напишет, будет правдой. А правда заключается в том, что ее муж не сделал ничего плохого, верен партии и не нужно его обижать“». Действительно ли такое письмо существовало и обязан ли Афиногенов своим спасением жене, мы не знаем — в дневнике об этом нет ни слова.

***

Полноценное возвращение Афиногенова на советскую сцену произошло весной 1941 года. Его пьесу «Машенька» поставили сразу Московский театр транспорта и Театр имени Моссовета. Пьеса быстро стала всесоюзным хитом — она шла в 300 театрах по всей стране. Для советского искусства тех лет сюжет был не вполне обычным. После смерти отца и нового замужества матери 15-летняя Маша приезжает в Москву к своему дедушке — профессору Окаёмову, специалисту по древним рукописям. Внучка нарушает размеренную жизнь профессора и одновременно с этим наполняет ее смыслом. Вся пьеса представляет собой набор картин, показывающих, как пробуждается и крепнет их взаимная привязанность. В последнем акте в Москву приезжает мать Маши и пробует забрать ее обратно. В итоге семья решает жить вместе.

Многие детали пьесы выглядят нарочито несоветски. На 24-м году советской власти профессор Окаёмов демонстративно не слушает радио, занимается немарксистской наукой и не принимает участия ни в какой общественной работе. Чтобы наладить связь с внучкой, он просит ее почитать ему вслух «Дэвида Копперфильда» Диккенса и вспоминает, что так же ему читал Диккенса его отец в день, когда убили Александра II. Афиногенов пересек негласный водораздел между советской

и царской Россией: в его тексте пионеры соседствуют со средневековыми рукописями.

Это уклонение от идеологического регламента хорошо почувствовали критики, назвавшие пьесу «безыдейной». 4 мая в Москве прошла творческая конференция по драматургии. Одно из заседаний было целиком посвящено «Машеньке». Осип Брик обратил внимание на странную особенность пьесы — очень слабую проработку изначального конфликта. Толком неизвестно, почему Окаёмов рассердился на сына, отчего тот умер и почему мать Маши прислала дочь к нелюбимому свекру. Формально Афиногенов давал ответы на некоторые из вопросов, но по сути Брик был прав: все эти повороты сюжета выглядели драматичными, но неубедительными, а также — и это особенно важно для советского регламента — социально необоснованными. В центре мира «Машеньки» — разрушенная семья, где члены разных поколений не могут понять друг друга и страдают от одиночества.

В конце первого акта между Машей и Окаёмовым происходит следующий диалог:

> «М а ш а: Разве вы тоже одинокий?
> О к а ё м о в: Да, девочка. Все от меня ушли.
> М а ш а: Куда?
> О к а ё м о в: Сначала ушли мои отец и мать. Потом жена. Потом мои сверстники, один за другим. Потом сын мой — твой папа. Значит, и мне пора. Настанет такой день, когда и я наконец уйду… Пора».

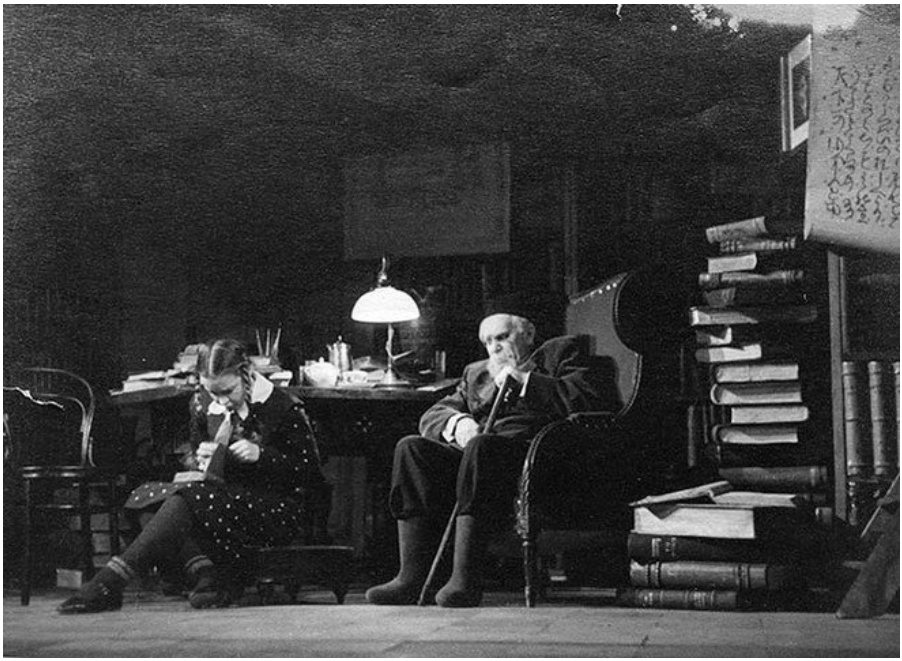
Эта сцена имела максимальный успех у зрителя: зал начинал плакать. Вообще, вся пьеса, по наблюдению Брика, оказывалась невероятно слезоточивой: «Все, кто смотрел, говорят: „Чудная вещь, я так наплакалась!“ Рина Зеленая прямо заявила: „Вода стоит по щиколотку“!». Необычную реакцию зала отметил и исполнитель роли Окаёмова Евсей Любимов-Ланской: «О чем мне говорит зрительный зал: мы — люди, современники — очень нуждаемся в ласке, в душевности, в хорошем отношении, в каком-то глубоком человеческом подходе. Надоело нам видеть оскаленные морды противных людей, которые существуют у нас, не хочется нам видеть мерзавцев и негодяев, которые у нас существуют».

Вера Марецкая и Евсей Любимов-Ланской в спектакле «Машенька» в Московском театре им. Моссовета. Март 1941 года

Российский государственный архив литературы и искусства

Вера Марецкая в спектакле «Машенька» в Московском театре им. Моссовета. Март 1941 года

Российский государственный архив литературы и искусства



Сцена из спектакля «Машенька» в Московском театре им. Моссовета. Март 1941 года
Российский государственный архив литературы и искусства

Советские зрители, пережившие ужас террора, с радостью ухватились за возможность сопереживать истории, в которой главными действующими силами были не идеологическая бдительность или готовность принести себя в жертву делу коммунизма, а любовь дедушки и внучки. Они оплакивали разрушенные террором семьи и свое одиночество, пусть и не могли говорить о его причинах в открытую. Сам Афиногенов напрямую связывал замысел своей пьесы с потрясением, пережитым во время Большого террора. В письме своему другу Борису Игрицкому, тоже пережившему чистку, он писал: «Что говорить — обоими нами прожито и пережито столько, что ни в одну пьесу не уложится. Тут и несправедливость, и клевета, и разочарование в „друзьях“, и руки порой опускаются в бессилии и нежелании продолжать борьбу… Как это ни странно — отсюда и родилась „Машенька“… от страстного желания побыть среди хороших людей, полных чистых чувств, благородных намерений, сердечной теплоты и подлинной дружбы».

Многие детали пьесы приобретают дополнительный смысл, если сопоставить их с текстом дневника 1937 года. Так, в одном из персонажей — геологе Леониде Борисовиче — можно без труда узнать Бориса Леонидовича Пастернака. Как и Пастернак

в дневнике Афиногенова, он парит над советской повседневностью. Получив за какое-то открытие 30 тысяч рублей, он выступает в пьесе в роли рассеянного и жизнерадостного волшебника: всем дарит подарки, помогает решать конфликты, для каждого находит доброе слово. Он дарит Окаёмову бюст Гераклита (подсказывая зрителю, что за окаёмовской фразой «Всё пройдет» стоит философская традиция). Он советует Маше выкинуть пузырек с чернилами со стола профессора и купить новую красивую чернильницу. Он же объясняет профессору, что Маша — это продолжение Окаёмова в бессмертии.

Написанная Афиногеновым пьеса о профессоре и его внучке поднимала вопрос о том, как преодолеть страх смерти, и показывала, что человек может сделать это, не надеясь на государство и официальную идеологию, с помощью своего внутреннего мира: книг, семьи и близких друзей. Афиногенов изобразил драму пережившего террор человека, полностью умолчав об опасной социальной реальности. По всей видимости, советский зритель прекрасно знал, что скрывается за этим молчанием.

Источники

Афиногенов А. Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания. М., 1957.

Афиногенов А. Избранное в 2 т. М., 1977.

Каверин В. Эпилог. М., 1989.

Прокофьева С. Годы 1936–38.[24] Уроки гнева и любви: Сб. воспоминаний о годах репрессий (1918 год — 80-е годы). Вып. 7. СПб., 1994.

Саед-Шах А. Поселку писателей Переделкино — 70 лет.[25] Вечерняя Москва, 26.08.2005.

Эткинд А. Кривое горе. М., 2016.

Творческая конференция по драматургии 4 мая 1941 (стенограмма). РГАЛИ, Ф. 631. Оп. 2. Ед. хр. 487.

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Hindus M. Crisis in the Kremlin. New York, 1953.

Глава 8. Последняя война

31 декабря 1940 года на даче у Афиногеновых собралась большая компания. На встречу Нового года пришли будущие лауреаты Сталинской премии Николай Погодин, Николай Вирта, Петр Тур и другие писатели и драматурги. С момента опалы прошло всего два года, и за это время Афиногенов снова сумел оказаться в центре светской жизни. Вечеринка удалась: все разошлись только в девять утра.

Хозяева в качестве развлечения составили для гостей шуточную анкету: нужно было ответить на семь вопросов, чтобы через год снова собраться и посмотреть, сбылось ли загаданное. На вопрос «Кем вы будете в новом году — блондинкой или брюнеткой?» гости отвечали: пегой, полосатой, лысым.

Впрочем, большинство вопросов были серьезными и так или иначе касались войны, которая уже вовсю шла в Европе: «Будем ли мы воевать в 1941 году?», «Как разовьется мировая война в 1941 году?» В ответах писатели и их жены проявили почти полное единодушие: «Адольфа Ивановича побьют», «провал Гитлера», «поражение Германии». Многие даже не верили, что СССР придется вступать в войну. Наибольшие оптимисты предрекали мировую революцию. «Надеюсь на Политбюро, не подведет», — писал Аркадий Первенцев.

***

1 июля 1941 года после полуторалетнего перерыва Афиногенов снова начал вести дневник. Как и многих современников, его побудило к этому нападение гитлеровских войск на СССР. На протяжении 30-х годов советская пропаганда убеждала, что новая война будет иметь всемирно историческое значение: она станет финальной битвой между силами коммунизма и капитализма. После вероломного нападения капиталистических сил советские войска перейдут в стремительное наступление, перенесут войну на территорию противника и устроят мировую пролетарскую революцию. После этого на земле (или хотя бы в Европе) должен будет установиться новый социальный порядок — без классов и без войн.

Поэтому неудивительно, что Афиногенов назвал свои записки «Дневник последней войны». Многие из этих записей поражают интонацией смирения перед смертью: «Миллионы погибнут.

Но миллионы и выживут. И спасшиеся будут жить в новом мире — без войн. Какая тогда будет жизнь? <…> Все это интересно… но все это уже мимо меня и не во мне. Во мне лишь одно ощущение — полного покоя перед лицом событий. Ожидание неизбежной и хладнокровной встречи с врагом. Смерть в войне не как искупление или жертва — нет, как естественный конец жизни, прожитой в роковую полосу мировой истории».

Рассуждения о неизбежности и банальности смерти прямо возвращали Афиногенова в ситуацию 1937 года, когда он ждал ареста на своей даче в Переделкине: «Жизнь… не все ли равно, где она оборвется, раз она уже прожита. Прожита и испытана — и все было в жизни моей — и слава, и почет, и падение на дно — и новый медленный подъем… но уже усталым и больным подымался я после 1937 года — тогда именно и зрело во мне это равнодушие к собственной жизни, которое, знаю, кончится моей смертью, и смертью скорой. Вот так я встречаю последнюю войну свою — и сейчас уже удаленно смотрю на тех, кто еще живет и борется за свое существование…»

Как утверждали многочисленные книги и фильмы, большевик должен был преодолеть буржуазный страх смерти, решиться на подвиг во имя идеи, чтобы воскреснуть в новых поколениях, которые будут жить уже при коммунизме. Большой террор ставил под вопрос этот центральный для официальной пропаганды миф: люди, пережившие опыт повседневного ожидания смерти, больше не воспринимали ее как подвиг. Они столкнулись с подлостью и цинизмом функционеров, увидели хаотические метания идеологов, неспособных внятно объяснить причины низвержения прославленных вождей и выборочность террора, и их доверие к режиму оказалось подорванным.

В самом начале войны возникла угроза не только военного, но и идеологического коллапса всего советского проекта. Несмотря на годы социального контроля, борьбы с инакомыслием и партийной пропаганды, уже в первые дни войны видимое единодушие советского общества было разрушено. Ответом на вторжение Гитлера и отступление советских войск стал не только подъем патриотизма, но и паника. Аноним, написавший письмо члену Политбюро и первому секретарю Ленинградского горкома ВКП(б) Андрею Жданову, так описывал ситуацию в Ленинграде через пять дней после начала войны: «Репродукторы кричат: „Не выключайте радио!“ — но тошно делается, люди гибнут где-то, а у нас музыка гремит, а в магазинах кошмар, население делает запасы, у кого есть деньги, конечно. <…> Я считаю, что надо милиции просто-напросто гонять очереди, а то получается полная паника,

в очередях можно услышать всевозможную провокацию, уже болтают, что Россию продали, что Сталин уже скрылся». Советские граждане прекрасно знали, что в публичных местах такие разговоры вести не стоило. Но страх наказания больше не останавливал людей.

3 июля, через 11 дней после начала войны, было принято решение эвакуировать из Москвы в Тюмень главную советскую святыню — тело Владимира Ленина. Одного этого было достаточно, чтобы представители советской элиты захотели бежать из города. «В эти дни обнаружилась человеческая трусость и слабость — именитые люди, ордена им дали, премии, а они ходят бледные, и единственный их вопрос — когда сдадут Москву, и как далеко придется нам бежать, и как бы им словчиться и убежать первыми», — записал Афиногенов в дневнике 7 июля.

Война быстро изменила привычную жизнь и быт московской интеллигенции: многие отправились на фронт, по ночам приходилось прятаться в убежища или бороться с зажигательными бомбами, в писательском поселке Переделкино появилась зенитная батарея. Изменился и ландшафт советского искусства: кино, на которое до этого делалась основная идеологическая ставка, было слишком долгим и дорогим в производстве, и приоритет был отдан агитационным статьям и пьесам. Различия между искусством и агитацией окончательно исчезли.

Спектакль по пьесе «Накануне» в Центральном театре транспорта. Москва, 1942 год

Российский государственный архив литературы и искусства

В июле Афиногенов получил государственный заказ на новую пьесу, которую нужно было закончить к августу. Действие «Накануне» происходит в дачном поселке неподалеку от большого города, куда приходит война, нарушая течение жизни главных героев — агронома Андрея Завьялова и его жены туркменки Джерен. Афиногенов выбрал далеких от армии людей и показал, как в условиях катастрофы жизнь становится понятнее и проще, а в людях проявляются их истинные качества. Оставшись в дачном поселке, герои демонстрируют чудеса самоорганизации и создают боевой отряд. Они избегают пафосных слов и официальных патриотических штампов — для поднятия боевого духа зенитчиков актриса Гараева читает им пассажи из «Войны и мира» Льва Толстого: «В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом… <…> …Теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного…»

В финальной сцене Завьялов, чтобы помешать маневру немецких войск, поджигает поле, засеянное выведенным им уникальным сортом пшеницы. Через несколько мгновений погибает его жена Джерен. Все герои приносят над ее телом клятву, слова которой противоречат общему настроению пьесы, буквально цитируя газетные передовицы тех дней: «Клянемся убить в себе жалость и ненавидеть врага так сильно, как любим мы жизнь и родину нашу. Кровью за кровь и смертью за смерть отомстим мы, и яростна будет наша месть».

Советские солдаты в Ельне. Фотография Маргарет Бурк-Уайт. 1941 год
© Margaret Bourke-White / The LIFE Picture Collection / Getty Images

В дневниковых записях лета и осени 1941 года Афиногенов разрывается между эскапизмом и желанием присоединиться к официальному дискурсу патриотизма и мобилизации:

> «Я совсем спокоен. <…> Сам я настолько ко всему готов, что даже порой удивляюсь себе… мне все время хочется спать — и больше ничего. А тут все время теребят с пьесой, и надо ее писать — иначе скандал…»
>
> *17 июля 1941*

> «Сегодня, впервые за много недель, радостное в сводке — взят город Ельня, Смоленской области, пятьдесят деревень, 400 кв. км территории. Разгромлено восемь дивизий. Бой шел двадцать шесть дней. Это очень радостно, хоть чуть-чуть можно на чем-то вздохнуть. И в дневной сводке — под Одессой уже легло двадцать тысяч румын и немцев. Газеты пишут: „Одесса — неприступная крепость“. Значит, не отдадим».
>
> *9 сентября 1941*

Афиногенов не мог перестать следить за развитием событий на фронте и пытался найти объяснение случившемуся. Как и в 1937 году, ему нужно было придумать интерпретацию, которая бы склеила распадавшуюся на глазах реальность. Сталин

по-прежнему занимал центральное место в этих рассуждениях, только теперь уверенности в том, что за катастрофой стоит четкий план, у Афиногенова поубавилось. «Что думает он? Как он воспринимает наши поражения? Есть ли у него свой, сталинский план? Или все планы смяты неумелой организацией и бюрократизмом, который может нас погубить? Ведь еще двух месяцев нет… а уже Смоленск. Это же действительно молниеносная война, что бы там ни говорили», — записал он 14 августа.

Тем парадоксальнее событие, которое произошло несколько недель спустя: Афиногенов получил первую серьезную должность со времен своей опалы. Его назначили главой литературной части Советского информационного бюро вместо Александра Фадеева: тот вернулся из командировки на фронт и ушел в запой. Во время войны Совинформбюро играло роль министерства пропаганды, которое координировало распространение информации о положении на фронте в газетах и радио. В 1941 году перед бюро среди прочего стояла вполне конкретная задача — ускорить вступление в войну Америки. Судя по всему, именно этим можно объяснить назначение Афиногенова, свободно говорившего по-английски.

За дело Афиногенов взялся с энтузиазмом. В его архиве сохранился рабочий блокнот, в котором законспектировано содержание чуть ли не ежедневных рабочих совещаний. Первого октября Афиногенов записал список амбициозных задач на будущее: «а) продвижение наших картин; б) политическая обработка голливудской общественности; в) постановка в Голливуде наших картин и продвижение наших сценариев».

Как позже вспоминал Лев Кассиль, «работая в Совинформбюро, он не только умел организовывать наших писателей, но и мобилизовывать те связи, которые были у него за границей, для освещения жизни Советского Союза. И на такой скромной площадке, как Переделкино, можно было встретить людей и с Запада, и из Америки».

Москва, улица Горького. 20 октября 1941 года
© Сергей Струнников / Фотохроника ТАСС

Тем временем по мере приближения немецких войск в Москве нарастала паника. Писатели и другие члены номенклатуры были заняты попытками эвакуировать свои семьи и вывезти имущество. В очередях, уже ничего не стесняясь, обвиняли во всех бедах евреев и обсуждали возможные преимущества жизни под немцами. Пятнадцатого октября Сталин подписал указ, предписывающий срочную эвакуацию правительства, Президиума Верховного совета и иностранных дипмиссий в Куйбышев. В случае появления немцев «у ворот Москвы» НКВД было поручено взорвать метро и ключевые промышленные предприятия. Люди бросились на вокзалы штурмовать отходящие поезда.

Афиногенов должен был ехать в специальном составе ЦК вместе с другими представителями советской элиты. Но свободного пассажирского состава не нашлось, и все сели в обычную дачную электричку. «Ранги, чины, всё смешалось — все равны перед самым трагическим, что свершилось за четыре месяца войны. Только 100 дней, и уже оставляем Москву. Невероятно!!!» — записал он 15 октября.

На несколько дней в Москве установилось безвластие:

уходившие из города по шоссе Энтузиастов москвичи останавливали и грабили машины спасавшейся бегством номенклатуры, коммунисты избавлялись от своих партбилетов, сотрудники аппарата ЦК бросили здание на Старой площади, не позаботившись уничтожить секретные документы.

Афиногенов не доехал до Куйбышева. По дороге его вызвали в Москву на срочное совещание Совинформбюро. 29 октября Афиногенов зашел в здание ЦК партии в центре Москвы оформить документы для выезда за границу, когда туда попала немецкая бомба. Он погиб от одного из осколков.

***

Три года спустя, когда исход войны уже не вызывал сомнений, Союз советских писателей нашел время и возможность почтить память литераторов, погибших в 1941 году. 28 октября 1944 года в Доме актера Всесоюзного театрального общества прошел вечер памяти Афиногенова. На вечере показали отрывки из пьес «Чудак», «Машенька» и «Накануне»; Давид Ойстрах, Лев Оборин и Святослав Кнушевицкий исполнили трио Чайковского «Памяти великого артиста». Но самой важной частью вечера были выступления писателей. Лев Кассиль вспомнил о спокойной уверенности Афиногенова в «дни, когда пристрастные, несправедливые обстоятельства затемнили жизнь этого человека и на время скрыли его жизнь от других». Самым же резонансным выступлением стала речь Бориса Пастернака.

Большую часть времени Пастернак говорил не о творчестве Афиногенова, а о его человеческих качествах: «Мой отец был художником. Если бы я обладал этими способностями, я бы нарисовал Афиногенова таким, каким он изображен на этом пригласительном билете. Это лицо бесстрашной чистоты». Как и в афиногеновской пьесе «Накануне», Пастернак изображал первые месяцы войны как время, когда люди проявили свою настоящую природу. На фоне паники, трусости и бюрократизма Афиногенов не изменил своих привычек и сохранил достоинство. Но самой необычной была следующая характеристика: «В моих глазах это был человек верующий. Он был такой верующий человек, что о нем можно сказать: „Вера горами двигает“. Афиногенов показал на живом примере, что вера именно творит». Это был настолько важный момент во всем выступлении для самого Пастернака, что он вернулся к своей мысли еще раз: «Он был человек веры, которая в действительности созидательна,

и из горнила этой веры созидалась действительность».

Неуместность этого словаря тут же потребовала корректировки. Выступавший следующим официозный писатель-баталист Леонид Соболев попробовал подправить характеристику, вернувшись в привычное русло советских клише: «Пастернак сказал: „Верующий человек“, — но я скажу другими словами: он был уверен в жизненности нашего народа, нашей страны».

Александр Афиногенов. Москва, 1930 год
Государственный литературный музей

Этот конфликт двух языков описания определил всю жизнь Афиногенова. Он искренне верил в советский проект, и эта вера переполняет его дневники и пьесы. Но Афиногенову также было важно быть соавтором партийной идеологии — поэтому

он не просто верил в нее, но осмыслял и развивал советские идеологемы. 1930-е годы обернулись катастрофой для многих убежденных коммунистов: их желание наполнить идеологию своими собственными смыслами было отвергнуто партийным аппаратом во главе со Сталиным, которого интересовала унификация и управляемость общества. Миллионы людей столкнулись с репрессиями, а официальные объяснения террора были противоречивы и неубедительны. Невозможность откровенно написать или рассказать об отчаянии, страхе и разочаровании, испытанных во время Большого террора, разделила Афиногенова-человека и Афиногенова-писателя. Это противоречие еще сильнее разрывало его в первые месяцы войны, когда пропаганда создавала образ советского человека-патриота, готового отдать жизнь за родину и не сомневающегося в победе коммунизма. Настоящий советский человек оказался гораздо сложнее и противоречивее, чем ему предписывала газета «Правда».

Последним на собрании выступил Илья Эренбург, который закончил свою речь словами «Он, кажется, не написал того зрелого и настоящего, чем жил, не написал о войне, о страшной осени. Но автор стал героем, персонажем еще не написанной трагедии. Он больше ничего не напишет, но его образ наверно вдохновит, и напишут о нем».

Источники

Афиногенов А. Избранное в 2 т. М., 1977.

Афиногенов А. Накануне. Советское искусство. Вып. от 20 июля 1941.

Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941. М., 2017.

Ломагин Н. Неизвестная блокада. СПб., М., 2002.

Вечер памяти А. Н. Афиногенова. Литературная газета, вып. от 2 декабря 1941 года.

Домашний архив семьи Афиногеновых

Лубянка в дни битвы за Москву: Материалы органов госбезопасности СССР из Центрального архива ФСБ России. М., 2002.

Фонд А. Н. Афиногенова в РГАЛИ. Ф. 2172.

Фонд Союза советских писателей в РГАЛИ. Ф. 631.

notes

Примечания

1

Порванная пополам машинопись сохранилась в архиве Булгакова. Впервые текст был издан в 1978 году как рассказ «Был май» (название дано по первому предложению).

2

Этим словом тогда называли советских граждан, которые не были рабочими, крестьянами или партийцами и потому не вписывались в классовые рамки.

3

В августе 1936 года в Москве прошел процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», в ходе которого старые большевики Лев Каменев и Григорий Зиновьев и их соратники были обвинены в антисоветском заговоре, убийстве Кирова и подготовке убийства Сталина. Всех подсудимых признали виновными и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение на следующий день, 25 августа 1936 года.

http://www.youtube.com/watch?v=l21nBqIvR70

http://www.nasledie-rus.ru/red_port/Sten00.php

6

Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) — самая влиятельная литературная организация конца 1920-х годов.

http://arzamas.academy/courses/31/4

http://arzamas.academy/courses/13/5

http://arzamas.academy/materials/934

http://russiainphoto.ru/

11

Сексот — сокращение от «секретный сотрудник», осведомитель НКВД.

http://arzamas.academy/materials/837

13

Иногда дневниковые записи разворачивались в напряженный внутренний диалог:

> «В этом ожидании отсутствует основное: за что именно тебя могут арестовать? Волна? Но это же нелепо! Ведь там, на Лубянке, сидят умные люди, они, при всей их занятости и бешеной работе, видят корни всего… и никакая волна не может заставить их взять невиновного… Оговор? Это возможно… но неужели там не найдется человека, который приказал бы проверить трижды любой оговор, зная, что теперь арест влечет за собой зачисление во враги, выселение, разрушение всей жизни…»

14

«Оказывается, мое философское „отрешение“ от партии было шатким. Или это только гордость говорит? Только гордость, только жажда признания моей правоты, жажда реабилитации?.. »…а вы попробуйте подвиг незаметный, где много клеветы и мало славы, где вы, сияющий человек, выставлены подлецом, тогда как вы честнее всех людей…« Нет, не хочу! Да минует меня чаша! <…> Нет, я и сейчас не скажу, что все — не заслужено. Было многое заслужено — я писала, не за „политические ошибки“, за жизнь… <…> Сталин (я не люблю, когда много и подобострастно трепаться о Сталине, это оттого, что я люблю его и не могу произносить его имя без спазмы восторга и счастья!), Сталин, оказывается, говорил: „Для рядовых членов партии членство в партии является вопросом жизни и смерти…“ А когда на парткоме я сказала: „Товарищи, вы сейчас будете решать вопрос моей жизни…“, — Саша Решетов, кривя в усмешке рот: „Товарищи, Берггольц припугнула тут самоубийством, вы не обращайте внимания на это“. <…> Удивляет меня еще то, что один товарищ мне не звонит… Ну, ему виднее… Возможно, что ему тоже сейчас кисло».

15

Из показаний сотрудника 3-го отдела УНКВД по Московской области А. О. Постеля: «С прибытием Заковского массовые аресты так называемой „латышской организации“, которые заранее определялись по контрольным цифрам на арест по каждому отделу на каждый месяц в количестве 1000–1200 чел., превратились в буквальную охоту за латышами и уничтожение взрослой части мужского латышского населения в Москве, так как доходили до разыскивания латышей по приписным листкам в милиции. Установки Заковского „бить морды при первом допросе“, брать короткие показания на пару страниц об участии в организации и новых людях и личные примеры его в Таганской тюрьме, как нужно допрашивать, — вызвали массовое почти поголовное избиение арестованных и вынужденные клеветнические показания арестованных не только на себя, но на своих знакомых, близких, сослуживцев и даже родственников».

16

http://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1012583

17

Афиногенов имеет в виду литературных функционеров, добившихся его исключения из партии.

18

Речь Анастаса Микояна на двадцатилетнем юбилее деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД в Большом театре:

https://youtu.be/dqe30iGxbR8

19

Владимир Киршон (1902–1938) — советский драматург, друг Александра Афиногенова, его товарищ по Российской ассоциации пролетарских писателей и Союзу писателей. Был арестован летом 1937 года.

20

Генрих Ягода (1891–1938) — до 1936 года руководитель НКВД. Покровительствовал Российской ассоциации пролетарских писателей и лично Афиногенову и Киршону. Был арестован в марте 1937 года.

21

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

http://kommersant.ru/doc/2076900

23

Библия короля Иакова — перевод Библии на английский язык, выполненный по распоряжению короля Англии Якова I в 1611 году.

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2186

http://www.peredelkino-land.ru/pages/poselku_pisatelej_peredelkino_70_let